



ГОРОД УЛЫБОК

АНТОНИЯ АЙРИС

Антония Айрис

Город улыбок

<https://litres.ru/74669953>

SelfPub; 2026

Аннотация

В Городе улыбок плакать запрещено. Каждый носит фарфоровую маску с улыбкой, слёзы превращаются в синее стекло, а за слезу на людях можно отправиться за кулисы, откуда не возвращаются.

Мира чинит чужие улыбки. Под каждой трещиной она видит то, что люди прячут: усталость, страх, одиночество, любовь. Свою маску она не снимала с восьми лет и уже не может снять.

Но на стенах города по ночам появляются настоящие лица. На пороге мастерской стоит Инспектор с огромной белой улыбкой. А рядом Лунщик, который каждую ночь поднимает Луну на тросах и умеет ждать до утра. И Мире придётся выбрать: остаться в безопасности или наконец увидеть правду. О городе. О маме. О себе.

Сказка для взрослых о том, что мы прячем за «у меня всё хорошо». С иллюстрациями.

Содержание

От автора	4
Часть первая. До	5
Глава 1. Кот без улыбки	7
Глава 2. Мастерская на улице Кулис	17
Глава 3. Урок правильной улыбки	25
Глава 4. Сорок две ступеньки	32
Глава 5. Ночь на улице Кулис	42
Часть вторая. Трещины	48
Глава 6. Мама кончилась	50
Глава 7. Инспектор	58
Глава 8. Ага	66
Глава 9. Белая краска	74
Глава 10. Заплатки	83
Глава 11. Агафья	89
Глава 12. Чужой обед	95
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Антония Айрис

Город улыбок

От автора

Эта история похожа на сказку. В ней есть город, где Луну поднимают на тросах, кот, которого оштрафовали за то, что он не улыбался, и мастерская, где чинят улыбки.

Но это не совсем выдумка.

Люди в масках ходят рядом с нами. На работе, в очереди, за семейным столом. Они говорят «у меня всё хорошо» и улыбаются ровно настолько, чтобы никто ничего не спросил. А иногда такую же маску мы видим в зеркале.

И навсегда остаётся вопрос: кто там, под маской? Готовы ли мы к тому, что нас увидят? И есть ли рядом те, кто хочет нас увидеть?

Эта книга для тех, кто давно не плакал. И для тех, кто готов однажды снять маску. Хотя бы на минуту. Хотя бы за ширмой.

Антония Айрис

© Антония Айрис, 2026

Часть первая. До



Глава 1. Кот без улыбки

Кота оштрафовали во вторник.

Штраф выписали как положено: на гербовой бумаге, с печатью Палаты Одобрения, в двух экземплярах. «Кот серый, обыкновенный, по кличке Хмуря, неоднократно замечен у булочной на улице Кулис без маски и, следовательно, без улыбки. Взыскать три рыбьих хвоста или одну мышь. Обжалованию подлежит до закрытия Палаты».

Хмуря бумагу понюхал и сел на неё сверху. Платить он не собирался. Он вообще никогда ни за что не платил и считал, что город должен ему, а не наоборот.

В Городе улыбок улыбаться обязаны все. Люди, собаки, лошади, даже голуби на площади Колокола, хотя голубям выдают маски попроще, картонные, и к вечеру они размокают. Все, кроме одного серого кота с драным левым ухом. Хмуря укусил трёх мастеров, которые пытались примерить ему маску, и одного инспектора, который просто проходил мимо. Инспектора он укусил, как потом объяснила Забава, «на всякий случай, для порядка».

Забава прятала его пять лет. Это было нетрудно: Хмуря и сам прекрасно умел прятаться. Из дома он почти не выходил, днём спал на чердаке, а если и гулял, то тайком, по крышам, где его никто не видел. Улицы он не любил: на улицах все в масках, а он нет. Но каждое утро, на рассвете, в тот час, ко-

гда лебёдка за крышами только начинала со скрипом тянуть вверх солнце и улица ещё спала, он спускался по водосточной трубе и садился на лавку у булочной. Ненадолго. До первых ставней. Знали об этом трое: булочник, Мира и сам кот.

Мира видела это каждое утро. Её мастерская стояла в соседнем доме, Мира вставала раньше всех на улице, и когда она открывала ставни, кот уже сидел на лавке. Сидел не так, как сидят коты. Он сидел, как сидят рядом с кем-то. Чуть в стороне от середины, оставив место. Иногда тёрся головой о воздух у самого края лавки и закрывал глаза. Иногда мурлыкал так громко, что было слышно сквозь стекло. Однажды он даже перевернулся на спину и подставил живот, а это Хмурия не позволял никому, даже Забаве.

Лавка была пустая.

На этой лавке каждое утро сидела бабушка булочника. Маленькая, в шерстяном платке поверх маски, с кульком сухарей для голубей. Сидела до прошлой зимы. Прошлой зимой её унесли за Занавес, в маске, как полагается, и булочник поставил на подоконник свечу лицом к Луне. Свеча давно догорела. Огарок так и стоял.

Булочник старался на лавку не смотреть. Он выносил лотки с бубликами и смотрел на бублики. Выносил противень и смотрел на противень. А кот на пустой лавке мурлыкал.

В понедельник, рано-рано, мимо булочной шла Ябеда. В тот день она встала до рассвета, чтобы первой прийти в школу и проверить, кто опоздает.

Ей восемь лет, у неё две тугие тёмные косички с изумрудными бантами, и она замечает всё. Это её главный талант и главная беда. Ябеда остановилась, посмотрела на кота, потом на его морду без маски. Голую, серую, с усами. Ябеда ахнула, развернулась и побежала через дорогу к лавке ниток. Над лавкой ниток жила мадам Шепоток.

Мадам Шепоток выслушала, дала Ябеде мятную конфету и что-то записала в блокнотик.

Во вторник пришла бумага. Шёл бумажный снег, в Городе улыбок его сыпят с колосников по вторникам и праздникам, и почтальон стряхивал белые кружочки с конверта прямо на порог Забавы.

Через десять минут Забава была в мастерской. В одной руке у неё была бумага, в другой корзина. В корзине сидел Хмуря с выражением морды, какое бывает у кота, которого несут к врачу без его согласия.

— Читай, — сказала Забава и положила бумагу на верстак, прямо в лужицу алой краски.

Мира прочитала. Перечитала строчку про мышь.

— Мышь у тебя есть?

— У меня есть кот, — сказала Забава. — Это хуже. Он считает, что мыши ему должны. Собирайся. Идём в Палату.

— Мне работать.

— Тебе всегда работать. Пойдёшь свидетелем.

— Свидетелем чего?

— Того, что кот приличный.

Хмуря в корзине зевнул, показав все зубы, какие у него были.

Палата Одобрения занимала целый дом на площади Колокола. Высокий, с колоннами, которые с улицы казались мраморными, а вблизи были крашеной фанерой. Внутри пахло сургучом и чернилами. У стены стояла очередь человек в тридцать, и все держали улыбки. Держали изо всех сил: в Палате Одобрения за кислую улыбку могли и самим выписать бумагу. Одна дама держала улыбку уже так давно, что у неё дрожал подбородок. Старичок в котелке держал улыбку и спал стоя. Мальчик лет семи держал улыбку и маму за руку, и было не очень понятно, что из этого ему тяжелее.

Забава оглядела очередь, вздохнула и встала в конец. Корзину она поставила на пол. Хмуря немедленно высунул голову, и дама с дрожащим подбородком отшатнулась так, будто увидела голого человека. В некотором смысле так и было.

Через час они дошли до окошка.

За окошком сидела чиновница в маске с улыбкой «рада помочь». Сама она, судя по глазам в прорезях, не была рада ничему уже очень давно. Над её головой висела табличка: «Жалобы на улыбки животных». Рядом, левее, было ещё одно окошко, наглухо закрытое деревянным ставнем, с табличкой «Жалобы на слёзы». На ставне лежала пыль.

— Обжалование, — сказала Забава и положила бумагу.

Чиновница прочитала. Посмотрела на корзину.

— Это он?

— Это он, — сказала Забава. — Но он не житель.

— Простите?

— Закон говорит: улыбаться обязан каждый житель города. А кот налогов не платит, в выборах не участвует, на службу не ходит. Какой же он житель? Он гость. Пять лет гостит.

Чиновница долго смотрела на Забаву. Потом достала толстую книгу в коричневом переплёте, посплюнула палец и стала листать. Листала она медленно. Очередь за спиной перестала дышать: такого в Палате Одобрения не было давно.

— «Все существа, находящиеся в черте города», — прочитала наконец чиновница.

— А он на крыше, — сказала Забава. — Крыша не в черте. Крыша над чертой.

Мира закрыла лицо рукой. Под маской это было не очень заметно, но рукой она всё равно закрылась.

Чиновница ещё полистала. Потом что-то зачеркнула, что-то вписала, поставила печать. Печать опустилась с таким стуком, что старичок в котелке проснулся и сказал «да-да, конечно».

— Штраф отменяется, — сказала чиновница. — За недоказанностью.

Забава повернулась к очереди с видом человека, который только что выиграл войну. В очереди кто-то тихо хлопнул в ладоши. Один раз. Потом испугался и сделал вид, что поправлял перчатку.

— Но, — сказала чиновница.

Забава повернулась обратно.

— Но маска коту положена. Сегодня, до закрытия Палаты. Иначе штраф вернётся, и уже двойной.

— Шесть рыбьих хвостов? — уточнила Забава.

— Или две мыши, — сказала чиновница и закрыла окошко.

До закрытия Палаты оставалось четыре часа. Маска для кота делается за три. Если, конечно, кот согласен.

Хмуря согласен не был.

В мастерской Мира уже потянулась к полке с заготовками, но Забава её остановила.

— Не надо. Своему коту я сделаю сама.

— Ты же не умеешь.

— Зато я его люблю, — сказала Забава. — Это важнее.

Она вытряхнула из сумки жестяную коробку из-под печенья, красную, лакированную, с золотыми завитушками. Печенье Забава высыпала на верстак, а крышку взяла себе. Крышка была круглая, размером с чайное блюдце. Забава сама вырезала в ней ножницами Миры две прорези для глаз, кривоватые, одну чуть выше другой. Потом прорези для усов, по шесть с каждой стороны, и на это ушло полчаса, потому что ножницы всё время соскальзывали. Мира сидела рядом, ела печенье и не вмешивалась, хотя руки у неё так и чесались поправить.

— Левый глаз выше, — не выдержала она наконец.

— Это чтобы он смотрел с прищуром, — сказала Забава.

— Он у меня всегда с прищуром.

Потом она взяла кисть. Высунула кончик языка, хотя под маской этого никто не видел, и нарисовала улыбку. Широкую. С ямочками. Самую весёлую, какую только можно нарисовать на лице того, кто терпеть не может веселиться.

Маска вышла кривая, смешная и ни на что не похожая. Мира посмотрела на неё и подумала, что сама так никогда бы не сделала. И что это, пожалуй, лучшая маска для кота во всём городе.

Потом они надевали маску втроём. Мира держала кота. Забава держала маску. А третьим был булочник, который зашёл с бубликами, увидел, что творится, поставил поднос и сказал: «Давайте я за лапы». Через минуту у булочника были расцарапаны обе руки, у Забавы порвана шаль, а у Миры в косе застряла кошачья шерсть и почему-то бублик. Хмуря сидел на верстаке в красной жестяной маске с весёлой улыбкой и смотрел на них так, что всем троиц стало немного стыдно.



А потом все трое расхохотались. Булочник смеялся, держась за поцарапанные руки. Забава смеялась так, что звенели браслеты. Мира смеялась беззвучно, только плечи тряслись. Хмуря посмотрел на них, отвернулся к стене и стал вылизывать лапу. Улыбка на маске продолжала улыбаться. Ей было всё равно, что чувствует кот.

Бумагу с печатью «маска надета» они успели сдать за четверть часа до закрытия.

Утром Мира, как всегда, открыла ставни.

Хмуря шёл по улице к булочной. В красной маске он шёл немного боком, как будто маска была тяжелее его самого. Он запрыгнул на лавку. Сел, как всегда, чуть в стороне от середины, оставив место.

Подождал.

Потёрся головой о воздух у края лавки. Воздух остался воздухом.

Хмуря потёрся ещё раз. Потом встал, обнюхал лавку от края до края, заглянул под неё. Посмотрел на дверь булочной, на окно с огарком свечи, снова на лавку. И долго сидел, глядя в пустое место рядом с собой. Так долго, что булочник вышел с подносом и остановился на пороге.

Потом кот прыгнул с лавки и ушёл. Не оглядываясь. Больше он туда не приходил.

Булочник постоял. Поставил поднос на подоконник рядом с огарком. Снял фартук, аккуратно сложил его. И впервые с

прошлой зимы сел на лавку сам. Чуть в стороне от середины. Оставив место.

Мира смотрела на него из окна мастерской. Она не знала, почему кот перестал приходить. Никто в городе этого не знал.

Коты слишком много видят. Пока на них нет маски.

Глава 2. Мастерская на улице Кулис

Мастерскую Миры легко пропустить, если не знаешь, где искать. Но те, кому надо, находят. С утра до вечера.

Она стоит в конце улицы Кулис, между булочной и лавкой ниток, и вывеска у неё такая маленькая, что её закрывает даже воробей, если сядет. Внутри от пола до потолка висят маски. Сотни белых лиц на гвоздиках, и все улыбаются. Новые посетители от этого вздрагивают. Старые здороваются с масками, как с соседями. Посередине стоит верстак, весь в пятнах краски, над ним лампа с зелёным абажуром, а на краю верстака чашка чая. Чай в ней всегда остывший. Мира наливает его горячим, ставит на край и забывает. Так повторяется по пять раз на дню, и за двадцать лет работы она, кажется, ни разу не допила ни одной чашки, пока она была тёплой.

Колокольчик над дверью звякнул в восемь утра.

Первой пришла дама с корзинкой и большими планами. В субботу у неё собиралась вся родня, и ей нужна была улыбка «я рада вас видеть».

— С запасом, — сказала дама. — Приедет золовка.

— Насколько с запасом? — спросила Мира.

Дама подумала.

— Приедет золовка с мужем.

Мира кивнула и сняла с полки заготовку пошире.

Заказов в мастерской всегда много, в Городе улыбок без работы мастер масок не сидит. А вот видов у них, если честно, всего штук шесть. Улыбка «у меня всё хорошо». Улыбка «я совсем не обиделась». Улыбка «мне не больно». Улыбка «я рада вас видеть», её берут перед праздниками. Улыбка «я справлюсь». И улыбка «я не устала». Последнюю заказывают чаще всех, её Мира может нарисовать с закрытыми глазами.

Это и проверил в то утро булочник.

Он вошёл, не стучась, с подносом бубликов, поставил его на верстак и сказал:

— Спорим, не сможешь. «Я не устала». С закрытыми глазами. На двенадцать бубликов.

— Спорим, — сказала Мира, не поднимая головы.

Булочника зовут Мякиш. Он большой, круглый и широкий, весь в муке, а маска у него с самой простой улыбкой «доброе утро», которую он не меняет двадцать лет, потому что, говорит, утро у него всегда доброе, а остальное неважно. Руки у него до сих пор были в царапинах от вчерашнего кота.

Мира закрыла глаза. Булочник для верности накрыл ей глаза ещё и своим полотенцем, от которого пахло тестом и корицей. Мира взяла кисть. Подышала на неё. Провела первую линию одним махом, потом вторую, потом подняла кисть и поставила две маленькие тени в уголках, там, где у уставших людей улыбка держится на последней нитке.

Булочник снял полотенце. Посмотрел на маску. Посмотрел ещё раз.

— Нечестно, — сказал он.

— Почему?

— Она лучше, чем с открытыми.

Он отсчитал двенадцать бубликов, вздохнул над каждым, как над родным, и ушёл. Мира разложила бублики на подоконнике, для всех, кто зайдёт. К обеду их не осталось.

В полдень пришёл мальчик лет десяти с маской младшего брата в руках. Брат уронил её с подоконника, и на подбородке откололся кусочек. Мальчик держал маску в двух ладонях, как птенца, и очень боялся, что брату теперь попадёт.

— Ничего страшного, — сказала Мира. — Скол. Залепим, и не будет видно.

— Совсем?

— Совсем.

Она замешала белую пасту, залепила скол, разгладила, подсушила над лампой. Мальчик смотрел, не мигая. Когда Мира отдала маску, он долго разглядывал подбородок и не нашёл.

— А вы и большие так чините? — спросил он. — Которые не видно?

Мира на секунду остановилась.

— Большие не чинят, — сказала она. — Большие меняют на новые. Беги.

Мальчик убежал. Колокольчик звякнул ему вслед.

В обед колокольчик не звякнул, а лязгнул. Так он лязгает только от Забавы.

Забава вошла с корзинкой, в корзинке лежал хлеб, сыр, два апельсина и кот. Кот был в маске. Красная жестяная крышка с кривыми прорезями сидела на нём чуть набок, улыбка с ямочками смотрела в потолок, а сам Хмуря смотрел из прорезей так, что булочник, заглянувший следом за бубликами, тихо попятился и ушёл без бубликов.

— Обед, — объявила Забава и вывалила всё на верстак, прямо на эскизы.

Хмуря выбрался из корзины и пошёл по мастерской. Он был здесь впервые. Раньше Забава его сюда не носила: мастерская масок для кота без маски была примерно как полицейский участок для вора. Теперь бояться было нечего, и Хмуря решил осмотреться.

Маску на него надели только вчера, а кота уже было не узнать. Тот, кто пять лет ходил только по крышам и только в темноте, теперь среди бела дня шёл по улице Кулис посередине мостовой, как городской голова. Заходил в булочную. Сидел на крыльце у Палаты Одобрения. Сегодня с утра его уже видели на площади Колокола, где он с презрением смотрел на голубей в картонных масках.

— Свобода, — сказала Забава, глядя, как он вышагивает по мастерской. — Пять лет прятался, а теперь ему всё можно. В маске-то.

Мира ничего не ответила. Она смотрела на кота и думала, что это странная свобода. В маске можно ходить везде. Только ходишь уже не совсем ты. И вопрос, стоит ли оно то-

го, коту, кажется, ещё не пришёл в голову.

Он прошёл вдоль стены. Сотни белых лиц на гвоздиках улыбались ему сверху. Хмуря остановился. Посмотрел на них. Они смотрели на него.

Шерсть у кота встала дыбом от ушей до кончика хвоста. Он выгнул спину, зашипел на всю стену сразу, а потом, для верности, на каждую маску отдельно, начиная с левого нижнего ряда. На двадцатой маске он охрип, плюнул и залез под верстак.

— Он их не одобряет, — сказала Забава с набитым ртом.

— Он прав, — сказала Мира. — Я их тоже не всегда одобряю.

Это было сказано в шутку, но Забава посмотрела на подругу внимательно. Забава вообще иногда смотрит внимательно, хотя по ней не скажешь.

— Лунщик опять приходил? — спросила она. — Со своей маской, которую не надо чинить?

— Почему опять?

— Потому что он приходит каждый четверг. А маска у него целая уже полгода. Я проверяла.

— Ты проверяла его маску?

— Я проверяю всё, что касается тебя, — сказала Забава и разломил апельсин пополам. — Кто-то же должен.

Мира не ответила. Она чистила апельсин очень сосредоточенно. Так она работает над самыми тонкими заказами.

Из-под верстака на них смотрел Хмуря. Потом он выбрал-

ся, подошёл к окну, запрыгнул на подоконник и устоялся на лавку у булочной. Лавка была пустая. Кот смотрел на неё долго. Потом отвернулся, спрыгнул и лёг Мире на ноги, тяжёлый, тёплый, с жестяной крышкой на морде. Лёг по-хозяйски, как на своё.

— Предатель, — сказала Забава без всякой обиды.

После обеда она ушла, а кота унесла в корзине. Хмуря из корзины смотрел на Миру, пока за ними не закрылась дверь.

В три часа пришёл господин Бархатов.

Его знала вся улица: самый нарядный мужчина в квартале, сюртук цвета сливы, трость с серебряным набалдашником, маска с тонкой улыбкой, подкрученной в уголках, как его усы когда-то. Он сел на табурет для клиентов, положил трость поперёк колен и долго говорил о погоде, о новых фонарях на Колокольной и о том, что булочник опять подорожал. Мира работала и слушала вполуха. Люди часто начинают с погоды, когда им трудно начать с главного.

— У нас с женой годовщина, — сказал наконец Бархатов, глядя на трость. — Двадцать пять лет. Нарисуйте мне что-нибудь... счастливое. Чтобы было видно, что я счастлив в браке.

Мира кивнула. Потом взяла лупу и наклонилась к его маске, как будто проверяет, хорошо ли лежит краска. Клиенты всегда думают, что она проверяет краску. Мира никогда их не разубеждает.

По маске господина Бархатова, от левого виска к подбо-

родку, шла трещина. Тонкая, почти невидимая. Мира посмотрела в неё.

Под трещиной был вечер. Улица, фонарь, карета у знакомого дома. В доме горит окно, за занавеской ходит женщина, ставит на стол две тарелки. А в карете сидит господин Бархатов, без маски, немолодой и очень усталый, и смотрит на окно. Сидит час. Потом ещё час. Женщина в окне садится за стол одна. А он всё сидит в карете, сжимая трость, и не может выйти. Потому что если он войдёт, ему придётся что-то сказать. А он не знает что.

Мира отложила лупу.

— Улыбку я вам сделаю, — сказала она. — Только сначала одна просьба. Не мне, вам.

Господин Бархатов приподнял бровь, насколько это возможно в маске.

— Сегодня вечером, когда подъедете к дому, выйдите из кареты сразу. И постучите в дверь.

— В свою дверь?

— В свою. В свой дом тоже можно стучать. Иногда это самое правильное.

Бархатов долго молчал. Потом встал, поклонился чуть ниже, чем принято, и ушёл, так и не дождавшись улыбки. Трость он забыл. Вернулся за ней через минуту, совершенно растерянный, и снова ушёл.

К вечеру поток кончился. Мира закрыла ставни, зажгла лампу и стала мыть кисти. Вода в банке стала розовой от

алой краски, потом мутной от белой, потом золотистой, а потом вдруг синей. Синей краски у Миры на полке нет. Синюю в Городе улыбок продают только в аптеках, по рецепту, и только в крошечных пузырьках. Но вода в банке была синей, и Мира смотрела на неё дольше, чем на любую другую.

Потом вылила воду, вытерла банку и пошла к окну задёрнуть занавеску. По пути она, как всегда, наступила на половицу у окна. Половица ответила глухим звуком, не таким, как остальные. Мира это знала. Она каждый вечер наступала на неё, проверяя, на месте ли что-то. И каждый вечер оно было на месте.

Когда Мира нагнулась за упавшей кистью, в кармане фартука что-то тихо звякнуло. Что именно, она не показала даже лампе.

На улице уже горели фонари. Над крышами, ровно в девять, Лунщик поднимал Луну, и тросы тихонько пели. Лавка у булочной была пустая. Хмуря туда больше не ходил. Зато в доме напротив, над лавкой ниток, светилось окно.

В окне сидела мадам Шепоток. Кругленькая, в кружевном чепце, с блокнотиком на коленях. Она что-то писала. Писала, писала, писала.

И подняла глаза ровно тогда, когда Мира взялась за занавеску.

Мира задёрнула её до конца. А потом, подумав, вторую тоже, хотя второй занавески на этом окне никогда не было, и пришлось повесить на гвоздик старую шаль.

Глава 3. Урок правильной улыбки

За Мирой прислали из школы в четверг, сразу после второго звонка.

Прислали не кого-нибудь, а самого школьного сторожа, хромого и важного, в маске с улыбкой «всё под контролем». Он постучал в мастерскую тростью, откашлялся и сообщил, что у ученика третьего класса случилась трещина и что госпожа учительница просит мастера срочно, потому что урок не может продолжаться, пока в классе трещина.

— Какая трещина? — спросила Мира, уже доставая сумку с инструментами.

Сторож понизил голос.

— От смеха.

Мира остановилась.

Трещины бывают от многого. От обиды, от страха, от боли, от усталости, от того, что долго держал что-то в себе. От смеха трещины не бывает почти никогда. Для этого надо смеяться очень сильно, очень долго и очень по-настоящему. Взрослые так не умеют. Дети иногда умеют, но их быстро отучают.

Школа на площади Колокола была похожа на торт, который забыли доесть: три этажа, белые колонны, жёлтые стены и много лепнины, местами отвалившейся. Над входом висела латунная доска: «Учимся улыбаться правильно». В кори-

дорах пахло мелом и варёной капустой. Где-то тикал метроном.

Метроном тикал в третьем классе.

Класс был полон детей в маленьких белых масках. Все сидели ровно, сложив руки на партах, и улыбались. На доске мелом было написано: «Урок 14. Правильная улыбка. Держим на счёт». У доски стояла учительница, высокая и прямая, в сером платье, с указкой и улыбкой такой ровности, что её, наверное, проверяли по линейке. Звали её госпожа Сдержанова.

— Держим! — говорила госпожа Сдержанова под стук метронома. — Раз. Два. Три. Уголки вверх. Четыре. Пять. Никто не шевелится. Шесть...

На слове «шесть» на задней парте кто-то прыснул.

Это был Смешок. Мира узнала его сразу: вихрастый, рыжеватый, с веснушками, которые торчали даже из-под краёв маски. Сын богатой Завидки. Он сидел, согнувшись над партой, и трясся. Не от страха. Он пытался не смеяться так отчаянно, что смех выходил из него маленькими толчками, как пар из чайника, у которого придавили крышку. По его маске, от уголка улыбки к виску, бежала тонкая свежая трещинка.

— Смешок! — сказала госпожа Сдержанова, не поворачивая головы.

Смешок прыснул снова. Весь класс замер. Тридцать маленьких улыбок держались изо всех сил, и было слышно, как

тридцать детей не дышат.

— Что смешного? — спросила госпожа Сдержанова.

— Ничего, — выдавил Смешок. — Простите. Ничего.

— Тогда почему ты смеёшься?

— Потому что ничего, — сказал Смешок и заплакал от смеха.

Тут подняла руку девочка с первой парты. Две тугие косички, изумрудные банты. Ябеда, его младшая сестра, хотя училась почему-то в том же классе, потому что, говорили, слишком рано научилась читать и всё время читала чужие записки.

— Госпожа учительница, — сказала Ябеда звонко. — Он смеялся по-настоящему. Я слышала. Он с утра смеётся. Он смеялся, когда папин портрет в столовой опять перекосялся. И когда мама сказала «опять». И когда...

— Достаточно, — сказала госпожа Сдержанова. — Благодарю за бдительность. Пять баллов.

Ябеда села и аккуратно сложила руки. На её маске не было ни одной трещины. Мира посмотрела на неё внимательно, и её почему-то это не обрадовало.

Смешка вывели в коридор. Мира усадила его на подоконник, открыла сумку и разложила инструменты. Мальчик сидел смирно, только иногда вздрагивал, когда смех снова пытался вылезти наружу.

— Больно? — спросила Мира.

— Нет. Щекотно.

— Это хорошо. Значит, неглубокая.

Она взяла лупу. Смешок, как все клиенты, решил, что она проверяет краску. Мира наклонилась к трещине и посмотрела.

Под трещиной была столовая. Огромная, изумрудная, с бесконечно длинным столом. На стене висел портрет военного в маске и с орденами, и портрет этот был слегка перекошен. В конце стола сидела женщина в жемчугах и смотрела в пустую тарелку. А под столом сидел маленький Смешок без маски, обнимал колени и хохотал. Беззвучно, до слёз, держась за живот. Хохотал над перекошенным портретом, над тишиной, над тем, как громко в этом доме звенят ложки. Он смеялся, потому что больше в этом доме смеяться было некому, а если не смеяться совсем, становилось слишком страшно.

Мира отложила лупу и взяла кисть с белой пастой.

— Смех не преступление, — сказала она тихо, проводя кистью по трещине. — Знаешь?

— Госпожа Сдержанова говорит, что преступление.

— Госпожа Сдержанова держит улыбку по линейке. Ей можно. Тебе нужно другое. Смех держи для своих. Для тех, с кем можно.

— А если таких нет?

Мира подумала.

— Тогда приходи в мастерскую. Там все маски улыбаются, им всё равно. Можешь смеяться хоть до вечера.

Смешок хихикнул. Трещина под кистью дрогнула и закрылась.

В коридоре в это время шла перемена. Малыши бегали вдоль стен, старшие сбились в кучку у окна, и самый длинный из них, с прыщом, который был виден даже сквозь маску, рассказывал страшное.

— А кто плачет, — говорил он громким шёпотом, — того увозят за кулисы. Там каторга. Там на всех надевают железные маски и заставляют крутить солнце. А кто не крутит, тех едят.

— Кто ест? — спросил кто-то.

— Кулисные. У них нет лиц. Совсем. Пусто.

Малыши завизжали и разбежались. Только у стены остались двое. Мальчик лет семи в серой кепке, серьёзный, с курточкой на размер меньше, чем нужно. И девочка лет пяти с двумя светлыми косичками и жёлтым вязаным шарфом. Мальчик держал девочку за руку. А когда длинный дошёл до слова «едят», мальчик спокойно и очень привычно накрыл сестре уши ладонями.

Девочка вывернулась из-под ладоней.

— Тихон, — сказала она. — А завтра нас тоже увезут?

— Нет, — сказал Тихон.

— А послезавтра?

— Нет.

— А почему ты знаешь?

Тихон не ответил. Он просто снова взял её за руку.

Мира смотрела на них из-за плеча Смешка. Она знала этих детей. Не по именам, просто видела иногда на улице с мамой, худой женщиной в сером пальто. Курточка у мальчика была заштопана на локтях очень аккуратно, мелкими стежками. Так штопают поздно ночью, когда больше никому.

Смешок соскочил с подоконника, порылся в кармане и достал половину бублика. Подошёл к Тихону и молча сунул ему в руку. Тихон молча взял и отдал сестре. Всё это они проделали так быстро и так привычно, что было видно: не в первый раз.

— Это мои двоюродные, — сказал Смешок, вернувшись. — Только маме не говорите. Мама говорит, у них своя мама есть.

После уроков Мира шла домой по улице Кулис. Сумка оттягивала плечо, в сумке звякали баночки. День был тёплый, солнце висело высоко на своём тресе и чуть покачивалось, когда наверху, на колосниках, кто-то проходил по мосткам.

В конце улицы, там, где брусчатка упиралась в тяжёлую бордовую кулису, стоял Смешок.

Стоял, прижавшись ухом к бархату.

Мира подошла ближе. Мальчик обернулся, и глаза у него в прорезях маски были круглые.

— Там смеются, — прошептал он. — По-настоящему. Как я.

Мира прислушалась. За кулисой было тихо. Пахло пылью и чем-то сладким, похожим на жжёный сахар.

— Тебе показалось, — сказала она.

— Нет. Послушайте.

Мира не хотела слушать. Ей хотелось взять мальчика за руку и увести, пока их никто не увидел. Но она наклонилась и приложила ухо к бархату.

Тишина.

А потом с той стороны, совсем близко, в одной ладони от её щеки, бархат чуть прогнулся. Как будто кто-то по ту сторону тоже приложил ухо и слушал.

Мира отпрянула. Схватила Смешка за руку и пошла. Быстро. Не оглядываясь. И всю дорогу до мастерской чувствовала, что кулиса у неё за спиной ещё долго покачивается.

Глава 4. Сорок две ступеньки

В четверг вечером в дверь постучали два раза. И подождали.

Так стучит только один человек на всей улице Кулис. Все остальные или звонят в колокольчик, или входят сами, а Забава вообще открывает дверь плечом. А этот стучит дважды, негромко, и ждёт, пока ему скажут «войдите». Если не сказать, он постоит, постоит и уйдёт. Однажды так и ушёл, потому что Мира была за ширмой и не услышала. Наутро вернулся и постучал снова.

— Войдите, — сказала Мира.

Дверь открылась, и в мастерскую вошёл Милан. Вошёл осторожно, бочком, потому что был широкий в плечах, а дверь узкая. Ростом он был чуть ниже знаменитого Инспектора, о котором шептались на улице, но рядом с масками на стенах всё равно казался большим, как шкаф, который зачем-то научился ходить на цыпочках. Светлые волнистые волосы до воротника, рубашка цвета топлёного молока, кожаный жилет, медовый шарф. На поясе мотки верёвки и маленькие латунные блоки, они тихо позвякивали при каждом шаге. Маска у него была молочно-перламутровая, со спокойной улыбкой и серебряным полумесяцем на скуле. Глаза в прорезях были карие и тёплые, как чай, который ещё не успел остыть.

— Можно? — спросил Милан, уже стоя в мастерской.

— Вы уже вошли.

— Я на всякий случай.

В руке у него была маска. Запасная, рабочая, точно такая же, как на нём.

— Вот, — сказал Милан и положил её на верстак. — Посмотрите, пожалуйста. Кажется, царапина.

Мира взяла маску. Повертела под лампой. Маска была целая. Совершенно. Полгода назад Мира заменила на ней ремешок, и с тех пор маска не знала ничего, кроме полки в доме Лунщика.

— Где царапина? — спросила Мира.

— Вот тут. — Милан показал пальцем. Подумал. — Или вот тут.

— Это пыль, Милан.

— Тогда протрите, пожалуйста, — сказал Милан с огромным облегчением.

Мира протёрла. Это заняло четыре секунды. Милан заплатил за это как за полную починку, Мира, как всегда, попыталась отдать сдачу, Милан, как всегда, сделал вид, что не понимает, что такое сдача. Потом он помялся у верстака и сказал, глядя куда-то на банку с кистями:

— Вы никогда не видели, как поднимают Луну. Сверху.

— Не видела.

— Хотите?

Мира хотела сказать «нет, мне работать». Она всегда так

говорила. Это были самые удобные слова в её жизни, ими можно было закрыть любую дверь. Но вспомнила, как Забава сегодня в обед сказала «он приходит каждый четверг», и почему-то разозлилась на Забаву. И сказала:

— Хочу.

Милан так растерялся, что уронил свою запасную маску. Мира поймала её у самого пола.

На колосники вела дверца за площадью Колокола. Узкая, низкая, покрашенная под цвет стены, так что если не знать, не найдёшь. За дверцей начиналась лестница. Деревянная, крутая, без перил.

— Сорок две ступеньки, — сказал Милан. — Я считал. В детстве считал каждый вечер, чтобы не бояться. Потом привык, а считать не перестал.

Он шёл впереди и время от времени оборачивался. Мира поднималась, держась рукой за стену. На двадцатой ступеньке она поняла, что боится высоты. На тридцатой поняла, что очень боится высоты. На сороковой решила, что если сейчас повернёт обратно, Забава об этом узнает. Забава всегда всё узнаёт. Мира поднялась на сорок вторую.

И город кончился.

Вернее, он остался внизу, но стал совсем другим. Наверху не было неба. Неба вообще не было: над головой висел огромный холст, расписанный голубым и белым, весь в заплатках, пришитых грубыми стежками. В одном углу холст отклеился и хлопал, как парус. Между холстом и крыша-

ми тянулись узкие деревянные мостки, переплетались канаты, висели блоки, лебёдки, противовесы в мешках с песком. Вдоль мостков стояли пухлые мешки с надписями мелом: «Снег. Вторник». «Снег. Праздник». «Снег. Запас». Над ними на верёвках висели свёрнутые облака, туго, как ковры в лавке. Посередине стояла машина, похожая на огромную прялку с барабаном. Барабан был обтянут парусиной.

— Ветер, — сказал Милан, проследив её взгляд. — Крутишь ручку, и внизу ветер. Только не крутите, пожалуйста. В прошлый раз мальчишки залезли, покрутили, и у господина Бархатова унесло шляпу на крышу Палаты. Её до сих пор не достали.

В дальнем углу, под самым холстом, лежало что-то большое и круглое, укрытое мешковиной. Из-под мешковины пробивался слабый золотистый свет, и вокруг этого места висела паутина размером с простыню.

— Там солнце спит, — сказал Милан. — Его не будите. Оно потом весь день сонное.

Мира посмотрела вниз, сквозь щель между досками, и забыла бояться.

Город лежал внизу целиком, как игрушечный. Крыши, трубы, площадь Колокола с латунной башней. Дома стояли полукругом, балкон над балконом, и сверху было видно то, чего никогда не видно с улицы: у каждого дома была только одна стена. Красивая, с окнами и лепниной. А сзади деревянные подпорки, леса, верёвки, и ничего больше. Улицы

кончались кулисами, тёмно-бордовыми, тяжёлыми, и кулисы сверху были похожи на сложенные крылья.

Мира смотрела на всё это и не могла понять, страшно ей или смешно. Город, в котором она прожила всю жизнь, оказался картонным. И при этом был таким красивым, что щипало в носу.

— Девять, — сказал Милан.

Внизу на башне ударил Колокол. Милан подошёл к самому большому блоку, где на четырёх тросах висела Луна.

Луна была стеклянная. Огромная, как мельничный жёрнов, расписанная серебром и тонкими серыми тенями, чтобы снизу казалось, что на ней горы. Внутри стояла лампа. Милан открыл в Луне маленькую дверцу, зажёл лампу длинной лучиной, закрыл дверцу. Взялся за ворот.

Тросы запели. Тихо, низко, на одной ноте. Луна дрогнула, качнулась и поплыла вверх и в сторону, над крышами, туда, где её должен был видеть весь город. Свет из неё ложился на холст неба, и холст становился ночью.

Внизу, на сотнях балконов, люди поднимали головы. Кто-то показывал Луну ребёнку. Кто-то просто стоял, держась за перила. На одном балконе старушка помахала Луне платком. Милан помахал ей в ответ, хотя снизу его никто не видел.

— Вы им машете, а они не знают, — сказала Мира.

— Мне и не надо, чтобы знали. Мне надо, чтобы смотрели вверх.

И тут на Луне кто-то сел.

Мира сначала не поверила. На самом верху стеклянного круга, на латунной раме, сидел кот. Серый, с драным ухом, в красной жестяной маске с кривой весёлой улыбкой. Как он сюда попал, никто не знал. Наверное, по крышам. Хмурия всегда ходил по крышам, а сегодня, видимо, решил, что крыш ему мало. Луна плыла над городом, а кот сидел на ней, обернув хвост вокруг лап, с видом человека, который купил билет в первый ряд.

— У Луны сегодня пассажир, — сказал Милан очень серьёзно.

Мира засмеялась так, что пришлось схватиться за канат. Потом в городе неделю спорили, был ли на Луне кот. Половина говорила, что был. Другая половина говорила, что это пятно на стекле. Забава сказала, что это её кот, и что он, между прочим, теперь при маске и имеет право.



Пока Луна плыла, Милан ходил по мосткам и трогал тросы. Каждый. Проводил ладонью, слушал, иногда подтягивал узел. Делал он это так же, как Мира проверяет краску: быстро, точно и не задумываясь.

Мире показалось, что мостки за её спиной скрипнули. Она обернулась. Никого. Только мешок с песком на противовесе медленно опустился сам собой, и где-то в стороне натянулся канат, хотя к нему никто не прикасался.

— Здесь наверху всегда кажется, что ты не один, — сказал Милан, не оборачиваясь. — Привыкаешь.

Последним он подошёл к самому старому тросу. Тот висел у края, отдельно от других. Чёрный, толстый, весь в рыжих пятнах ржавчины на старых скобах. Милан положил на него ладонь и сказал тихо, как говорят собаке, которая устала:

— Держись.

Трос держался.

— Вы с ним разговариваете? — спросила Мира.

— Он тут дольше всех. Ещё с отца.

Милан помолчал. Потом сказал, всё так же глядя на трос:

— Меня до сих пор зовут сыном того самого.

Мира знала, о ком речь. Весь город знал. Тридцать лет назад Лунщиком был отец Милана, и в ту ночь, про которую никто не говорит вслух, Луна поднималась на его тросах. Больше Мира ничего спрашивать не стала. Есть вещи, о которых в Городе улыбок не спрашивают, их обходят, как

лужу. А она сама в ту ночь была на площади. Ей было восемь.

Милан поднял руку, чтобы подтянуть верхний узел, и из кармана его жилета выпала сложенная бумага. Мира подняла её. Бумага развернулась сама. Наверху стояла печать Совета Благолепия, жемчужно-белая, а ниже ровным почерком было написано: «На ваше прошение о замене тросов Луны. В связи с экономией отказать».

Милан мягко взял у неё бумагу.

— Это не вам, — сказал он. — Это мне. Каждый год.

Он сложил бумагу вчетверо и убрал обратно. А потом, проходя мимо толстой балки, на которой держалась половина канатов, на секунду коснулся её пальцами. Там, на дереве, был вырезан ножом знак. Одна буква «Т» и маленькая звёздочка рядом.

— Тут работал один человек, — сказал Милан. — Хороший. Тёплый очень.

Он не сказал, что с ним стало. Мира не спросила. Ей вдруг стало холодно, хотя наверху было тепло от лампы.

Вниз Милан шёл первым и на каждой ступеньке подавал руку. Мира сначала не брала. На десятой ступеньке взяла. Рука у Милана была большая, твёрдая, вся в мозолях и белых полосках от верёвок. Он держал её руку так, будто это было что-то хрупкое и чужое, что ему доверили ненадолго. А на последней ступеньке отпустил первым. Ровно тогда, когда Мира встала на землю.

— Спасибо, — сказала Мира.

— Это вам спасибо, — сказал Милан. — Что пришли.

Он постучал двумя пальцами по краю своей маски, так в городе прощаются и здороваются, и пошёл обратно наверх. Ему надо было сидеть с Луной до утра.

Мира постояла у дверцы. Потом подняла голову.

Высоко над площадью, у самого края холста, висел старый чёрный трос. Ветра не было, Милан ведь просил ничего не крутить. Но трос качнулся. Один раз, медленно. И с него, кружась, посыпалась чёрная труха. Она падала долго, как бумажный снег, только чёрный.

Несколько крошек упали Мире на рукав. Мира стряхнула их и пошла домой. И только у самой мастерской заметила, что всю дорогу сжимала кулак.

Глава 5. Ночь на улице Кулис

Карета проехала в два часа ночи.

Мира не спала. Она сидела у окна мастерской, не зажигая лампы, и смотрела на Луну. Луна висела над крышами ровно, спокойно, и где-то наверху, возле неё, сидел сейчас Милан, а может, и Хмуря. Мира думала о старом тресе. О букве «Т» на балке. О бумаге с жемчужной печатью. О том, как Милан сказал «каждый год». Мысли эти ходили по кругу, как лошадь вокруг колодца, и никуда не приходили.

А потом по улице Кулис поехала карета.

Её было слышно издалека, хотя звук был странный. Не стук, а шорох: колёса у неё были обиты войлоком, и копыта у лошадей тоже. Чёрная, лакированная, закрытая со всех сторон, с маленьким окошком на дверце. Лошадей было две, вороные, и обе в белых масках с широкими улыбками. Лошадиные маски были длинные, на всю морду, и от этого лошади казались ещё печальнее, чем были.

Карету Управления инспекторов знали все. Её никто никогда не видел днём.

Едва она свернула на улицу Кулис, по всей улице, окно за окном, задёрнулись занавески. Мира слышала это: короткий шорох колец по карнизу, потом ещё один, потом ещё. Как будто по улице впереди кареты бежала волна. Так задёргивают занавески дети, когда играют в прятки и думают, что

если они не видят, то и их не видно.

Мира не задёрнула. Не успела. Или не захотела, она потом сама не могла сказать.

Карета проехала мимо мастерской совсем близко. В окошке на дверце было темно, но фонарь у булочной на секунду осветил его изнутри. Мира увидела силуэт. Очень высокий. Голова почти под самой крышей кареты. И руку на раме окошка. Руку в белой перчатке. Перчатка была такая белая, что светилась даже в темноте.

А рядом с высоким силуэтом сидел кто-то маленький, сгорбленный, и прижимал к груди деревянный ящичек. Таким ящичком пользуются, когда носят с собой много мелких вещей, которые боятся растерять.

Фонарь остался позади. Окошко снова стало чёрным. Карета доехала до конца улицы, туда, где висела кулиса, свернула и пропала. Куда она свернула, к кулисе или на площадь, из окна было не видно.

Занавески по улице остались задёрнутыми до утра.

Утром новость принесла булочная. В Городе улыбок все новости приходят через булочную, потому что за бубликами ходят все, даже те, кто ни с кем не разговаривает.

— Часовщика увезли, — сказал булочник Мякиш, ставя поднос на верстак. Сказал тихо и почему-то смотрел не на Миру, а на бублики. — Секундина. С Колокольной.

Старого Секундина знали все. Маленький, сухой, с лупой в глазу, которую он не вынимал даже на улице. Его мастер-

ская была на соседней улице, и в окне у него всегда висели часы, сотня часов, и все шли одинаково, секунда в секунду. Дети бегали к его окну сверять время. Взрослые бегали к нему чинить всё, что тикает, а заодно и то, что не тикает.

— За что? — спросила Мира.

Булочник пожал плечами.

— Куда? — спросила Мира.

Булочник снова пожал плечами.

В Городе улыбок есть одно слово на всё это: увезли. Увезли за кулисы, на каторгу, откуда не возвращаются. Или увезли за Занавес, откуда не возвращается вообще никто. Какая разница, говорили люди, если и оттуда, и оттуда не приходят письма. И никто не спрашивал, куда именно. Спрашивать было не принято. Спрашивать было опасно.

К обеду вся улица знала про часы.

Мира пошла посмотреть. Не хотела, но ноги пошли сами. Мастерская Секундина стояла на Колокольной, через два дома от угла, с открытыми ставнями. Дверь была заперта, на ней висела бумажная лента с печатью Управления. А в окне висели часы. Все сто. И все стояли.

Все сто часов остановились в одну и ту же минуту. Семнадцать минут третьего.

У окна стояли дети. Они не толкались, как обычно, и не кричали «у меня быстрее!». Они просто смотрели на часы, которые больше не шли. Девочка в жёлтом шарфе, та самая, из школы, держалась за руку брата и спрашивала:

— А его завтра вернут?

— Не знаю, — сказал брат.

— А часы кто будет заводить?

Брат не ответил.

Кто остановил часы, никто не знал. Сам Секундин этого сделать не мог, его увезли. Инспектор тоже вряд ли: зачем бы Инспектору останавливать сто часов. Остановиться сами разом они не могли тоже. Мира смотрела на стрелки и думала, что кто-то сделал это нарочно. Как будто кто-то хотел, чтобы весь город запомнил, когда это случилось.

Обратно она шла мимо лавки ниток. Из окна второго этажа пахло пирожками. Мадам Шепоток высунулась в окно, румяная, в чепце, с полной тарелкой.

— Возьмите, деточка, — сказала она ласково. — С капустой. Я напекла на дорожку.

— На какую дорожку?

— Ну как же, — сказала мадам Шепоток. — Секундину. На дорожку.

Дорожки никакой не было. Секундина увезли ночью, в закрытой карете. Но Мира взяла пирожок, потому что отказаться от пирожка мадам Шепоток было бы невежливо, а быть невежливой с мадам Шепоток было бы глупо.

— Говорят, — сказала мадам Шепоток, понизив голос и наклоняясь из окна, — он чинил часы по ночам. Без маски. Сидел у окна с голым лицом и чинил. Мол, в маске ему стёклашки плохо видно. Представляете? Восемьдесят лет чело-

веку, а всё как ребёнок.

Мира посмотрела на неё. Мадам Шепоток улыбалась сладко и сочувственно. На подоконнике у неё лежал блокнотик. Раскрытый.

Пирожок Мира отдала Хмуре. Хмуря сидел на крыльце мастерской, ждал её. Пирожок он понюхал, есть не стал и закопал в цветочный горшок. Мира подумала, что кот умнее её.

Забава пришла к вечеру, злая, шумная, звенящая браслетами больше обычного.

— Он мне часы бесплатно чинил! — сказала она с порога. — Три раза! Бабушкины! Они даже не тикали, а он чинил! Куда его повезли? Я пойду в Управление и спрошу.

— Не надо, — сказала Мира.

— Почему?

— Потому что не надо.

Забава посмотрела на неё долго.

— Ты всегда «не надо», — сказала она. Не зло. Устало. — Ты всю жизнь «не надо». Ладно. Не пойду. Сегодня.

Она ушла, не взяв ни одного апельсина из своей же корзинки. Дверь за ней закрылась без всякого лязга. Это было хуже, чем если бы она хлопнула.

Мира работала до темноты. Заказ был на улыбку «я справлюсь», для молодой вдовы с Колокольной, та просила, чтобы улыбка была не слишком весёлая, но и не слишком грустная, «чтобы соседи не спрашивали». Это самый трудный заказ на

свете. Мира переделывала уголки четыре раза.

На пятый раз заныла старая трещина.

Та, что под золотом. Слева, у глаза, вниз к уголку улыбки. Она ныла редко. Так она ныла только в очень плохие дни, и обе это знали.

Мира положила кисть. Приложила ладонь к левой щеке, к холодному фарфору, и посидела так. Потом снова взяла кисть. Потом опять положила. Лампа гудела. Луна за окном висела ровно, Милан держал её крепко. Где-то на соседней улице сто часов показывали семнадцать минут третьего и не собирались показывать ничего другого.

Мира заснула прямо за верстаком, щекой на руке, рядом с недописанной улыбкой «я справлюсь». Чай в чашке остыл. Так было всегда.

Проснулась она от звука.

Колокольчик над дверью звякнул тихо. Так звонят люди, которые не уверены, что им можно войти.

Часть вторая. Трещины



Глава 6. Мама кончилась

Женщина вошла боком, придерживая дверь, чтобы колокольчик не звенел. Колокольчик всё равно звякнул, тихо и виновато.

Мира подняла голову от верстака. Щека затекла, на ней отпечатался край недописанной маски «я справлюсь». Лампа так и горела с ночи. За окном лебёдка, скрипя, дотягивала солнце до места.

— Простите, — сказала женщина. — Вы уже открыты?

— Уже, — сказала Мира, хотя ещё не была уверена, что проснулась.

Женщина была в длинном сером пальто и серой косынке. Худая, сутулая, с хозяйственной сумкой, из которой торчала детская варёжка и свёрнутый в трубочку детский рисунок. Маска у неё была самая обычная, магазинная, с вежливой улыбкой. Такие продают в любой лавке, с ними ходит полгорода. Правую щёку женщина прикрывала ладонью. Не так, как прикрывают больной зуб. Так прикрывают дырку на чулке, когда входят в гости.

Мира узнала её не сразу. А потом увидела руки. Красные, с трещинками на костяшках, как бывает от ледяной воды и хозяйственного мыла. И пальцы, исколотые иголкой. Мелкие, аккуратные стежки на локтях у мальчика в серой кепке, в школьном коридоре. Мама двоих детей, которую Мира ви-

дела иногда на улице и ни разу не спросила, как её зовут.

— Садитесь, — сказала Мира и подвинула табурет для клиентов. — Что вам нужно?

Женщина села на самый краешек табурета, так, чтобы можно было сразу встать и уйти.

— Мне нужна новая улыбка, — сказала она. — Такая, чтобы дети не заметили.

— Что не заметили?

Женщина помолчала. Убрала ладонь со щеки, сложила руки на коленях. Под ладонью была трещина. Глубокая, от правого виска до подбородка, через всю щёку, как трещина на старой тарелке, которую много раз роняли и много раз склеивали.

— Что мама кончилась, — сказала она.

Сказала спокойно. Так говорят «хлеб кончился» или «нитки кончились». Без жалобы, просто сообщая, что на полке стало пусто.

Мира ничего не ответила. У неё вдруг защипало глаза, и пришлось несколько раз моргнуть. Это было неудобно и совершенно не вовремя. Мира взяла лупу и наклонилась к маске женщины, как будто проверяет, хорошо ли лежит краска.

И посмотрела в трещину.

Под трещиной была кухня. Огромная, высокая, как площадь. Вдоль стен, до самого потолка, стояли башни посуды: тарелки, чашки, кастрюли, сковородки, миски, одна на другой, грязные, и башни эти были такими высокими, что их

верхушки терялись в темноте. Где-то капал кран. Кап. Кап. Кап. А посреди кухни, на полу, сидела крошечная женщина без маски. Сидела, обняв колени, маленькая, как мышь под шкафом. И плечи у неё вздрагивали. С её щёк падали синие стеклянные бусины. Падали и со звоном раскатывались по полу, во все стороны, под стол, под плиту, к самым башням посуды. Одна башня, задетая бусиной, медленно качнулась. И устояла. Пока.

Мира отложила лупу. Руки у неё были совершенно спокойные. Это она умела.

— Как вас зовут? — спросила она.

— Терпи.

— Терпи, — повторила Мира.

— Мама так назвала. — Терпи чуть пожала плечами. — Говорила, удобное имя. Что ни случись, сразу понятно, что делать.

Она засмеялась. Смех вышел короткий, как кашель, и тут же кончился.

— Простите, — сказала Терпи. — Я к вам с утра с таким.

— В этом городе плакать запрещено, — сказала Мира. — Поэтому у меня много работы. Не извиняйтесь.

Она сняла с гвоздика новую маску, гладкую и чистую. Подумала. Повесила обратно и сняла другую, на полпальца шире, потому что у Терпи было узкое лицо, но высокий лоб, а маска, которая жмёт на лоб, к вечеру начинает болеть так, что хочется её содрать. Это Мира знала по клиентам. По се-

бе она знала это тоже, но об этом не думала.

Работала она долго. Терпи сидела на табурете и смотрела на свои руки. Потом достала из сумки рисунок и стала его разглаживать на коленях, хотя он и так был гладкий. Мира краем глаза видела: на рисунке был дом, солнце на верёвке и три фигурки, две маленькие и одна большая. У большой фигурки улыбка была нарисована очень широко, от края до края лица, красным карандашом, с нажимом, так что бумага прорвалась.

— Дочка нарисовала, — сказала Терпи, заметив взгляд. — Это я. Она всегда рисует мне большую улыбку. Говорит, чтобы мне хватило.

Мира кивнула и наклонилась к маске ниже, чем было нужно.

Она рисовала так, как рисуют самое важное: сначала дышала на кисть, потом проводила первую линию одним махом, без остановки, потом отходила на шаг и наклоняла голову, прислушиваясь к фарфору. В мастерской тикали часы. В булочной за стенкой Мякиш ронял противни и ругался на них ласковыми словами.

Улыбка вышла идеальная. Тёплая, спокойная, немного усталая в уголках. Такая бывает у мамы, когда она только что пожелала спокойной ночи и выключила свет, а сама ещё стоит в дверях. Дети такой поверят. Дети всегда верят маминым улыбкам.

На этом можно было остановиться.

Но Мира выдвинула ящик под верстаком. В ящике, за мотками бечёвки и старыми кистями, стоял крошечный аптечный пузырёк. Синий. Такие продают по рецепту, и на полке у Миры их не было, никогда. Мира открыла пузырёк, макнула в него самую тонкую кисть и поставила под левым нарисованным глазом точку. Совсем маленькую, меньше макового зёрнышка. Если не знать, что она там, не заметишь.

Синий цвет в Городе улыбок означает слёзы. Синяя точка на маске это почти признание.

Терпи наклонилась ближе. Увидела. Медленно подняла руку и коснулась своей щеки, той, старой, треснувшей, как будто проверяла, на месте ли она.

— Это что? — спросила она тихо.

— Это чтобы кто-то знал, — сказала Мира, не поднимая головы.

Терпи прижала ладонь к груди и больше ничего не спросила.

Потом она ушла за ширму с облаками, переделалась, как говорят в Городе улыбок, и вышла уже в новой улыбке. Посмотрелась в зеркало у двери. Поправила косынку. Положила на верстак монеты. Мира отодвинула их обратно. Терпи снова положила. Мира снова отодвинула. Это могло продолжаться до вечера, но тут в булочной опять загрохотал противень, и обе вздрогнули и засмеялись.

На верстаке стояла корзинка, позабытая Забавой. В ней лежали апельсины, четыре штуки, круглые и яркие.

— Возьмите детям, — сказала Мира. — Подруга оставила, она всё равно забудет, что приносила.

Терпи взяла два. Мира положила в сумку ещё два, рядом с варежкой. Терпи сказала «спасибо» три раза и ушла. Колокольчик звякнул ей вслед, на этот раз почти весело.

Мира подошла к окну. Ей хотелось посмотреть, как Терпи пойдёт по улице в новой улыбке. Так она смотрела вслед каждой своей работе, хотя никому в этом не признавалась.

У булочной, на той самой лавке, где больше не сидел кот, Терпи ждали дети. Мальчик в серой кепке и девочка в жёлтом шарфе. Они сидели рядом, плечом к плечу, и мальчик держал сестру за руку, как держал её в школьном коридоре. Увидев маму, девочка прыгнула с лавки и побежала навстречу. Остановилась в двух шагах. Задрала голову и долго смотрела на новую улыбку.

Мира перестала дышать. Сейчас девочка увидит точку. Или не увидит. Или скажет: «Мама, ты другая».

Девочка ничего не сказала. Она взяла у мамы апельсин, понюхала его и засмеялась. А потом протянула маме свой жёлтый шарф, совсем как взрослая, и Терпи наклонилась, и дочка обмотала шарф ей вокруг шеи, криво, в два оборота. Мальчик встал с лавки последним. Он подошёл к матери и посмотрел ей в лицо. Долго. Серьёзно. Так смотрят взрослые, когда что-то понимают и решают промолчать. Потом взял у неё тяжёлую сумку и понёс сам.

Они ушли втроём. Терпи в жёлтом шарфе посередине.

Старую маску, с трещиной через всю щёку, она оставила на верстаке. Мира повесила её на гвоздик у двери, к остальным. Чтобы не мешала.

До вечера мастерская не пустела. Пришли жених с невестой заказывать одинаковые улыбки к помолвке и полчаса спорили, у кого уголки должны быть выше. Пришёл фонарщик с Колокольной, у которого маска закоптилась от фонарей так, что улыбку было не найти; Мира отмыла её, и под копотью улыбка оказалась совсем молодой, фонарщик даже растерялся. И зашёл Мякиш, сообщил, что двенадцать бубликов он Мире простил, но не забыл, и что если она хочет реванша, то он готов в любой четверг. Мира смеялась, когда он ушёл, и ей стало немного легче.

Вечером она осталась одна. Задёрнула занавеску. Зажгла лампу. Стала мыть кисти в банке с водой. Вода стала розовой от алой краски, потом мутной от белой, потом золотистой. А потом синей, от той самой тонкой кисти.

И тут маска треснула.

Это было слышно. Тонкий, сухой звук, как будто кто-то провёл ногтем по стеклу. Только изнутри. Новая трещина побежала от левого уголка улыбки вниз. Тёмная. Не та, старая, под золотом, а новая, свежая, своя. Золото вокруг неё дрогнуло и не удержало. Мира замерла с кистью в руке и медленно подняла другую руку к щеке.

Под маской стало мокро.

Из-под края фарфора, у самого подбородка, выкатилась

слеза. Упала на верстак и звякнула. Маленькая синяя стеклянная бусина. Покатилась по доскам, стукнулась о баночку с золотой краской, отскочила и покатилась к краю.

Мира поймала её ладонью у самого края. Сжала кулак. Бусина была тёплая.

— Только не я, — прошептала Мира. — Только не я...

В Городе улыбок за такое увозят.

И в дверь постучали. Три раза. Медленно, тяжело, как стучат люди, которые знают, что им откроют.

За матовым стеклом двери стоял силуэт. Очень высокий, голова почти под самой притолокой. Длинный мундир. И улыбка. Огромная, белая, от уха до уха, видная даже сквозь мутное стекло.

Эту улыбку знал весь город.

Глава 7. Инспектор

Мира успела только сунуть кулак с бусиной под ладонь другой руки и прижать к верстаку.

Дверь открылась.

На пороге стоял Инспектор. За его спиной шёл снег, хотя был не вторник: в Городе улыбок снег положен по вторникам и по праздникам. Видимо, наверху, на колосниках, кто-то задел мешок. Бумажные снежинки кружились в свете лампы, влетали в мастерскую и садились на маски у двери, на плечи Инспектора, на его белые перчатки.

Чтобы войти, ему пришлось наклонить голову. Он был очень высокий. Длинный ультрамариновый мундир с двумя рядами латунных пуговиц. Белые перчатки, белее бумажного снега. Высокие чёрные сапоги. На поясе латунная лупа. И маска. Белая, гладкая, с огромной улыбкой от уха до уха. Такой широкой, что сначала думаешь: смешно. А через секунду думаешь: нет. Совсем не смешно.

Он сделал один шаг через порог. Сапог глухо стукнул о доски. Тень от него легла через всю мастерскую, до самого верстака, и накрыла руки Мира.



— Инспектор Лад, — сказал он. — Плановая проверка.

Голос у него был низкий и ровный. Таким голосом можно читать расписание поездов и приговоры, и звучать будет одинаково.

— Ночью? — спросила Мира.

— Трещины любят ночь, — сказал Лад.

Он снял перчатки. Не торопясь, палец за пальцем. Сложил их пополам и положил на край верстака, ровно на край, так, что пальцы перчаток свешивались вниз. Мира смотрела на эти перчатки и думала, что так аккуратно складывают вещи только люди, у которых внутри очень большой беспорядок. Потом подумала, что это глупая мысль, и перестала.

Лад пошёл вдоль стены.

Сотни масок смотрели на него сверху. Он шёл медленно и время от времени проводил пальцем по краю какой-нибудь маски. Без перчатки. Палец у него был длинный и бледный. Иногда он останавливался, снимал с пояса лупу и смотрел на улыбку так долго, что даже маске, наверное, становилось неловко.

Мира сидела за верстаком и не двигалась. Ладонь её лежала на столе, прижатая к доскам, а под ладонью, в кулаке, была бусина. Бусина грелась. Мира чувствовала, как между пальцами пробивается слабый синий свет. Слезы в Городе улыбок светятся, когда они свежие. Об этом мало кто знает. Мало кто держал их в руке.

Лад дошёл до конца стены. Повернулся. Посмотрел на верстак.

И подошёл.

Он положил свою руку на стол рядом с её рукой. Совсем близко. Между его пальцами и её пальцами осталось расстояние в одну спичку.

— Что у вас под рукой? — спросил он тихо. Почти ласково.

— Краска, — сказала Мира. Слишком быстро. — Синяя.

Лад молчал. Мира не дышала. Синий свет между её пальцами дрогнул и погас. Бусина тоже испугалась.

— Синяя краска продаётся по рецепту, — сказал Лад.

— У меня есть рецепт.

— Покажете?

— Завтра. Он дома.

Лад посмотрел на неё ещё немного. Потом убрал руку со стола.

Мира смотрела на него и пыталась увидеть трещину. Это было первое, что она делала с каждым человеком, привычка тридцати лет. Трещина есть у всех. У младенцев, у стариков, у самых счастливых людей в городе. Тонкая, едва заметная, у виска, у подбородка, у глаза. Мира находила её всегда.

У Лада трещины не было.

Ни одной. Белый гладкий фарфор от края до края, без единой волосинки. Как будто под маской вообще ничего нет. Или как будто то, что там есть, держат очень, очень крепко.

Лад пошёл к двери. Мира почти выдохнула.

И он остановился возле одной маски.

Старая маска Терпи висела на гвоздике у самой двери, там, куда Мира её повесила днём. Вежливая улыбка, магазинная. И трещина через всю правую щёку. Лад снял её с гвоздика и повернул к лампе. В свете лампы трещина стала похожа на реку на карте.

— Чья? — спросил он.

— Старая, — сказала Мира. — Выброшу.

— Чья старая?

— Клиентки.

— Имя.

— Я не спрашиваю имён. Люди приходят за улыбкой, а не за знакомством.

Лад положил маску Терпи во внутренний карман мундира. Аккуратно, лицом к сердцу.

— Такие трещины мы регистрируем, — сказал он. — Завтра принесёте имя. Если принесёте, клиентку запишут. Ничего страшного, просто запись в книге. Если не принесёте...

Он помолчал.

— Если не принесёте, под подозрением окажетесь вы.

— За что?

— За плохую память, — сказал Лад. — У мастеров она должна быть хорошая.

Потом он сделал то, чего Мира боялась больше всего.

Он подошёл к ней совсем близко. Так близко, что она ви-

дела латунные пуговицы его мундира, каждую, и маленькую царапину на третьей сверху. Он поднял лупу. И посмотрел на её маску.

На маску Миры никто никогда так не смотрел. Люди смотрят на маски мимоходом, им достаточно улыбки. А он смотрел медленно, по миллиметру, как сама Мира смотрит на чужие трещины. Вдоль тонких золотых линий, которые сеткой покрывали её фарфор. Вдоль старого шва у левого глаза. И дальше, вниз, к уголку улыбки, где час назад побежала новая, тёмная.

Мира чувствовала этот взгляд кожей под фарфором. Ей хотелось стать гладкой. Новой. Магазиновой. Без единой истории.

— А у вас золото на маске, — сказал Лад. — Зачем?

— Так красивее, — сказала Мира. Голос у неё не дрогнул. Она потом сама удивлялась.

Лад опустил лупу. Долго молчал.

— Или так не видно, — сказал он.

Он забрал перчатки. Надел их не торопясь, палец за пальцем. Кивнул Мире коротко и вежливо, как кивают у дверей учреждения. И вышел в снег, снова наклонив голову под притолокой. Дверь закрылась. Колокольчик звякнул один раз, тихо и осторожно.

За матовым стеклом высокий силуэт постоял секунду. Потом ушёл в снег.

Мира заперла дверь на оба замка. Задёрнула занавеску,

хотя она и так была задёрнута. Потом села на табурет для клиентов, хотя никогда на него не садилась.

И разжала кулак.

Бусина лежала на ладони. Синяя, тёплая, уже не светилась. Обычная слеза. Такая же, как сотни других.

Мира отодвинула верстак, встала на колени и поддела ножом ту самую половицу у окна, которая каждый вечер отвечала не так, как остальные. Под половицей стояла банка. Обычная стеклянная банка из-под варенья, с жестяной крышкой. В банке лежали синие бусины. Много. Почти доверху.

Мира никогда их не считала. Но число было известно точно: тысяча сто сорок шесть. И далеко не все они были её. Об этом Мира не рассказывала никому, даже Забаве.

Она открыла крышку и опустила в банку тысяча сто сорок седьмую. Бусина звякнула о другие и улеглась сверху. Мира закрыла банку, положила половицу на место, придвинула верстак. Всё это она проделала быстро и привычно, как человек, который каждый вечер моет одну и ту же чашку.

Можно было идти спать.

Мира погасила лампу. И тогда увидела.

На полу у двери, на коврикe, среди тающих бумажных снежинок, что-то светилось. Слабо, синим.

Мира подошла. Наклонилась. Подняла.

Бусина. Маленькая, синяя, стеклянная. Совсем свежая, ещё тёплая, ещё светилась изнутри, как светятся только что

упавшие слёзы. Она лежала ровно там, где минуту назад стоял Инспектор.

Свою слезу Мира спрятала. Она точно знала: бусина легла в банку, звякнула о другие. И больше Мира сегодня не плакала.

— Это... — прошептала она. — Это не моя.

За дверью шуршал бумажный снег. Где-то далеко, над площадью, тихо пели тросы Луны.

Кто-то в Городе улыбок плакал. И пришёл с этим к ней в мастерскую.

Глава 8. Ага

Чужую бусину Мира до утра держала в кулаке.

Под половицу, к остальным, она её так и не положила. Не смогла. Остальные были понятные, у каждой была своя история. А эта лежала на ладони и не рассказывала ничего. Когда за окном заскрипела лебёдка и солнце поползло над крышами, Мира отыскала на полке пустой спичечный коробок, положила бусину туда и сунула коробок в карман фартука. Отдельно от всех.

В восемь утра колокольчик не звякнул и не лязгнул. Он вскрикнул.

Через порог перекатились три апельсина, за ними красная шаль, за шалью корзина, а за корзиной Забава. Последний апельсин доехал до верстака и остановился у ноги Мира.

— Я позавчера была гадкая, — сказала Забава вместо «здравствуй». — А вчера не пришла, потому что было стыдно. Апельсины в знак мира. Они кислые. Как я.

Мира посмотрела на апельсины. Потом на Забаву. Красная лаковая маска с улыбкой-солнцем, лучики до самых висков. Под маской Забава плохо спала две ночи подряд, это было ясно и без лупы: Забава не умеет засыпать поссорившись. Она так и сказала однажды: «Я не умею засыпать, когда кто-то на меня злится. Мне кажется, они злятся громко».

— Я не злилась, — сказала Мира.

— Злилась. Ты, когда злишься, режешь кисти ровнее.

Забава оглядела мастерскую. Лампу, которая горела с ночи. Табурет для клиентов, сдвинутый к двери. Чашку с остывшим чаем, полную до краёв.

— Ты что, всю ночь не спала?

— Инспектор приходил, — сказала Мира.

Забава замерла с апельсином в руке. Потом обошла Мира кругом, медленно, осматривая со всех сторон, как вазу, которую только что привезли в телеге по брусчатке и бояться распаковывать.

— И ты жива? — спросила она. — Значит, празднуем!

И начала чистить апельсин прямо над верстаком, над кистями и баночками, так что кожура полетела в алую краску. Мира даже не стала ругаться. Ей вдруг стало так легко, что захотелось сесть.

Она рассказала. Про стук, про перчатки, про «трещины любят ночь», про маску Терпи, которую Лад унёс во внутреннем кармане. Про лупу. Про «или так не видно». Про чужую бусину она не рассказала. Коробок лежал в кармане и молчал, и Мира тоже промолчала.

Забава слушала, не перебивая, что с ней бывает раз в год.

— Имя он хочет, — сказала она, дослушав. — А ты его не дашь.

— Не дам.

— Хорошо, — сказала Забава. — Тогда будем думать, что делать, когда ты его не дашь.

Мира и Забава дружат с девяти лет. Это был первый год после той ночи, о которой в городе не говорят, и в школе тогда все ходили тихо, будто пол стеклянный. Мира уже тогда смотрела на людей так, как смотрит сейчас: прямо в маски, долго, по миллиметру. Детям это не нравилось. Детям вообще не нравится, когда их видят насквозь, в этом они похожи на взрослых. С Мирой не садились за парту.

А Забава села. В первый же день. Положила на парту апельсин, разделила пополам, и пока Мира молча смотрела на её красную маску, сказала:

— У тебя трещина. Вот тут. Под золотом.

Мира чуть не уронила свою половинку. Золото на её маске видели все, оно было красивое, тонкое, как паутинка. А трещину под ним не видел никто.

— Я не вижу, — сказала тогда девятилетняя Забава. — Я догадалась. Ты так держишь голову, как будто там больно. Не бойся. Я никому не скажу. Я вообще не умею молчать, но это сохраню.

И сохранила. Двадцать девять лет.

Колокольчик звякнул в девять. Вежливо, один раз.

На пороге стоял мужчина средних лет в сером сюртуке. Обеими руками он прижимал к груди пухлый портфель, застёгнутый на два ремешка. Маска у него была серьёзная, конторская, с аккуратной вежливой улыбкой, такие выдают служащим оптом, со скидкой. По маске, от правой брови к уголку рта, шла трещина, мелкая и частая, как трещина на

старом льду.

— Садитесь, — сказала Мира.

— Ага, — сказал мужчина и сел.

Забава, которая уже открыла рот, чтобы что-то сказать, закрыла его обратно. Ей стало интересно.

— Как вас зовут? — спросила Мира.

— Ага... фон. Агафон.

— Что вам нужно, Агафон?

Агафон помолчал. Посмотрел на Забаву, на апельсин, на маски на стенах. Портфель он так и не выпустил.

— Мне нужна улыбка, — сказал он наконец. — Такая, чтобы жена думала, что я её слушаю.

Забава издала звук. Короткий, похожий на то, как чихает кошка. Это она смеялась, стараясь не смеяться.

— А вы её слушаете? — спросила Мира.

— Ага, — сказал Агафон.

— Как зовут вашу жену?

— Агафья.

Забава закрыла лицо обеими руками. Плечи у неё затряслись.

— Что она вам сегодня утром сказала? — спросила Мира, не обращая внимания на Забаву.

— Ага, — сказал Агафон. Потом подумал. — Что-то про... ага.

Мира взяла лупу. Наклонилась к его маске.

Под трещиной была метель. Только вместо снега летела

бумага. Счета. Квитанции. Расписки. Уведомления с печатями. Белые, серые, желтоватые, они кружились и кружились, налипали друг на друга, и посреди этой метели стоял Агафон без маски, маленький, в одном сюртуке, и пытался их ловить. Ловил одну бумажку, а в лицо ему прилетали три. Где-то далеко, за метелью, кто-то звал его. Женский голос, тёплый, встревоженный: «Агафон, ты меня вообще слышишь?» Голос долетал до него и рассыпался о бумагу, как горох о стену.

Мира отложила лупу.

Забава ждала, что она скажет что-нибудь про жену. Так в городе обычно и решают: жена зовёт, муж не слышит, значит, муж плохой. Забава уже приготовилась поддакнуть.

— Вы не глухой, — сказала Мира. — И вам не всё равно. Агафон моргнул.

— Просто внутри у вас так шумят счета, что её голос не долетает.

Агафон крепче прижал к себе портфель. Портфель скрипнул. Забава перестала смеяться.

— Улыбку я вам сделаю, — сказала Мира. — Хорошую. Но она не поможет.

— А что поможет?

— Правда. Придите домой и скажите ей, сколько вы должны. Не «ага». Правду.

Агафон долго смотрел на Миру. Потом опустил глаза на портфель. В мастерской тикали часы. В булочной за стенкой Мякиш спорил с кем-то о цене маковых рулетов.

— Ага, — сказал Агафон.

И тут Мира засмеялась.

Смех вышел сам, без спроса. Короткий, звонкий, неожиданный, как чих. Мира даже не успела удивиться. Она смеялась редко, и смех у неё обычно был тихий, в плечи, а этот вылетел наружу целиком. Агафон растерялся. Забава посмотрела на подругу так, как смотрят на первый подснежник посреди сугроба.

— Слышишь? — сказала Забава. — Ты смеёшься. Значит, Забаву в этом городе ещё не запретили.

Улыбку Мира делала до обеда. Внимательную, тёплую, с маленькой морщинкой между бровей, как у человека, который и правда слушает. Агафон ушёл за ширму с облаками переодеться и пробыл там долго, гораздо дольше, чем нужно, чтобы поменять одну маску на другую. Из-за ширмы было тихо. Забава хотела что-то спросить, но Мира покачала головой.

Агафон вышел в новой улыбке. Поблагодарил. Расплатился. У двери остановился, постоял и сказал:

— Я попробую. Правду.

Ни одного «ага». Забава заплотировала ему в спину, и он покраснел даже сквозь фарфор.

Когда за ним закрылась дверь, Мира зашла за ширму. На полу, у самого зеркала, там, где Агафон стоял без маски и смотрел на своё лицо, лежала синяя бусина. Одна. Маленькая, ещё тёплая.

Мира подняла её и, не глядя на Забаву, положила в карман.

Вечером Забава ушла, оставив на верстаке два апельсина и всю кожуру. Мира закрыла ставни, зажгла лампу, отодвинула верстак и подняла половицу. Бусина Агафона легла к остальным. Мира не стала на неё смотреть. Она никогда не смотрела на чужие слёзы. Ей хватало того, что она видела под масками.

Тысяча сто сорок восемь.

День кончился хорошо. Так хорошо, что было даже немного страшно, как бывает, когда слишком долго не падает то, что должно упасть.

Уже ночью Мира подошла к окну задёрнуть занавеску.

На стене дома напротив было лицо.

Нарисованное. Огромное, во всю стену, от водосточной трубы до окна второго этажа. Женское лицо, без маски. Усталое, с тенями под глазами, с губами, которые не улыбаются, а просто живут. Его нарисовали за одну ночь, широкими быстрыми мазками, синей краской, и краска ещё блестела в свете фонаря, как мокрая.

Мира узнала его сразу.

Это была Терпи.

А под её левым глазом, маленькая, меньше макового зёрнышка, стояла синяя точка. Та самая.

Кто-то в Городе улыбок рисовал лица, которые все прятали. В городе это было запрещено.

А утром эту стену увидит вся улица. И Инспектор.

Глава 9. Белая краска

В Городе улыбок нет ничего страшнее настоящего лица.

Это стало понятно утром, у стены. Солнце подняли рано, лебёдка скрипела над крышами торопливо: ей тоже хотелось посмотреть. Улица Кулис ещё толком не проснулась, а у дома напротив мастерской уже стояла толпа. Человек сорок. Все в масках, все с улыбками, и все смотрели в одну сторону. Сорок нарисованных улыбок, направленных на одно живое лицо.

При дневном свете лицо Терпи на стене было ещё больше, чем ночью. И ещё живее. Тот, кто его нарисовал, не сделал её ни красивой, ни страшной. Он нарисовал её такой, какая она есть: с морщинкой между бровей, с усталостью в уголках глаз, с губами, которые устали держать улыбку и просто отдыхают. Людям смотреть на это было тяжело. Они отворачивались. И снова смотрели. Так смотрят на то, чего давно не видели в зеркале.

— Кто это? — шептали в толпе.

— Не знаю.

— Похожа на кого-то.

— Все на кого-то похожи.

На углу дома висела латунная табличка, потемневшая от времени: «Изображения лиц без маски являются уликой. Об обнаружении сообщить в Управление инспекторов». Таб-

личку повесили давно, когда Мира была маленькой. Тогда лица на стенах появлялись раз в год. Последние месяцы почти каждую неделю.

Мира стояла с краю, в фартуке поверх платья. Из мастерской она выскочила на минуту. Минута тянулась уже давно. Спала Мира плохо: каждый раз, закрывая глаза, она видела синюю точку под нарисованным глазом и вспоминала, как ставила такую же на маску. Тонкой кистью. Своей рукой.

А потом она увидела Терпи.

Настоящую. В сером пальто, в серой косынке, в новой улыбке, тёплой и спокойной, той самой. Терпи стояла в первом ряду, держала за руки детей, мальчика в кепке и девочку в жёлтом шарфе, и смотрела на стену. На себя. На свою усталость высотой в два этажа.

Маска на ней улыбалась. Маске больше ничего не оставалось.

А под левым глазом маски была точка. Синяя. Меньше макового зёрнышка.

Мира поняла это сразу, одним ударом, как понимают, что забыли выключить утюг. Это их точка. Её точка. Она поставила её, чтобы хоть кто-то знал правду. А теперь правду может узнать вся улица. Достаточно посмотреть на стену, потом на маску. Потом снова на стену.

Мальчик потянул мать за рукав. Девочка что-то спросила. Она вообще всё время что-то спрашивает, эта девочка: «А завтра?», «А послезавтра?», «А почему?» Терпи не ответи-

ла. Она стояла и не могла уйти. Так бывает во сне: надо бежать, а ноги не идут.

Мира видела её руки. Терпи сжимала детские ладошки так, будто детей сейчас унесёт ветром. Она боялась не наказания. Она боялась, что дети однажды проснутся, а мамы нет.

— Ой, — сказал сладкий голос совсем рядом.

Мадам Шепоток. Кругленькая, в сиреновом кружеве, в кружевных перчатках, с крошечной шляпкой на седых буклях. Пахло от неё ванилью и свежими пирожками. Блокнотик она держала в руке, раскрытым, и карандаш был наготове.

Мадам Шепоток смотрела на Терпи. Точнее, на её маску. Точнее, на точку под глазом.

— Господин Инспектор, — позвала она негромко. Таким голосом зовут кошку к блюдцу. — А у этой синяя точка. Как на стене!

Лада Мира не видела, пока он не повернул голову. Он стоял в толпе давно, наверное, с самого начала. Высокий, на голову выше всех, в ультрамариновом мундире, белые перчатки сложены за спиной. Огромная улыбка повернулась медленно, как прожектор над сценой, и легла на Терпи.

Мира шагнула вперёд. Она не знала, что собирается сделать. Сказать что-нибудь? Встать между ними? Мира никогда в жизни ни между кем не вставала.

И в эту секунду кто-то уронил апельсины.

Не три и не пять. Целую корзину. Апельсины хлынули на брусчатку, как из пробитой бочки, и покатались во все стороны: под ноги, под юбки, под сапоги Инспектора, вниз по мостовой, к булочной, к лавке ниток, к самой кулисе в конце улицы.

— Ой! Апельсины! — закричала Забава так, что с карниза взлетели голуби в картонных масках. — Люди, помогите! Это последние! Это заморские! Это на свадьбу!

Сорок человек в масках одновременно наклонились. В Городе улыбок не принято смотреть, как пропадает хорошая вещь. Люди ловили апельсины, сталкивались лбами, извинялись, роняли, ловили снова. Господин в котелке поскользнулся и сел на брусчатку с апельсином в каждой руке и выражением человека, который выиграл в лотерею. Мадам Шепоток взвизгнула: апельсин закатился ей под юбку, и она закружилась на месте, пытаясь его найти, как собачка, которая ловит свой хвост. Мякиш выскочил из булочной с подносом и стал собирать апельсины на поднос, приговаривая «заморские, заморские». Даже Лад отступил на шаг. Два апельсина подкатились к его сапогам и остановились. Ждали, что он с ними сделает.

Он ничего с ними не сделал. Он смотрел вверх голов.

А когда толпа выпрямилась, Терпи в первом ряду уже не было. И детей не было. Только на брусчатке, там, где они стояли, лежала оброненная детская варежка. А вниз по улице уходила красная шаль, широкая, как парус, и под ней уга-

дывались три фигуры, одна большая и две маленькие.

Забава вернулась через десять минут. С пустой корзиной и совершенно невинным видом. Подобрала с мостовой последний апельсин и протянула его мадам Шепоток.

— Вам, — сказала она. — За помощь.

Мадам Шепоток взяла апельсин. И что-то записала в блокнотик.

Лад подошёл к Мире, когда толпа почти разошлась.

— Вы принесли имя? — спросил он.

Голос ровный. Как расписание поездов.

Мира знала, что надо сказать «не помню». Или «я не спрашиваю имён». Или промолчать. Молчать безопасно. Её с детства учили, что молчать безопасно.

— Нет, — сказала Мира.

Просто «нет». Без объяснений. Она смотрела ему прямо в прорези маски, снизу вверх, потому что Мира достаёт Ладу только до плеча. Но смотрела так, что это было неважно.

Мира ни разу в жизни не говорила Инспектору «нет». Ей стало страшно. И ещё стало немного не по себе от того, как легко это слово вышло. Слово давно лежало наготове и ждало.

Лад помолчал. Потом посмотрел на стену. На лицо Терпи. На синюю точку.

— Имя мне больше не нужно, — сказал он. — Мне нужен тот, кто рисует.

И ушёл, не оглядываясь. Два апельсина так и остались ле-

жать у стены.

Ночью Мира взяла скребок.

Она не сказала себе, зачем. Но знала. Она шла соскоблить точку. Хотя бы точку. Если стереть точку, лицо на стене будет просто лицом, мало ли в городе усталых женщин. А маска Терпи будет просто маской. И никто ничего не докажет.

Улица Кулис ночью совсем другая. Фонари горят через один. Луна висит над крышами и чуть покачивается: наверху Милан, наверное, проверяет узлы. Брусчатка блестит. Кулиса в конце улицы похожа на большую тёмную воду. Где-то далеко ухнула ветряная машина, и по улице прошёл короткий холодный ветер.

Мира дошла до угла и остановилась.

У стены кто-то стоял.

Высокий. Очень высокий. Без мундира, в одной белой рубашке с закатанными рукавами. Рядом на брусчатке ведро. В руке широкая кисть.

Он красил стену. Белой краской. Лицо Терпи исчезало под ней полосами, сверху вниз: сначала лоб, потом брови, потом глаза. Он работал медленно и очень аккуратно. Не торопясь. Не оглядываясь. Так спокойно, будто делал это уже много раз.

Мира стояла за углом и не дышала.

Кисть дошла до левого глаза. До синей точки. Задержалась на ней. Секунду. Две. Мира видела, как замерла рука в белом рукаве, как кисть чуть дрогнула над точкой, не ре-

шаясь.

Потом закрасила.



Лад опустил кисть в ведро. Выпрямился. И сказал, не оборачиваясь, в пустую ночную улицу:

— Я знаю, что вы здесь, Мира.

Глава 10. Заплатки

Мира вышла из-за угла.

Прятаться дальше было глупо, а Мира не любила выглядеть глупо. Она подошла к стене и остановилась в трёх шагах от Лада, со скребком в руке. Скребок вдруг стал очень заметен. Как ложка, которую держишь в руках, когда тебя застали у чужого варенья.

Стена была белой. Совсем. Ни бровей, ни глаз, ни точки. Только запах свежей краски и одна капля, которая медленно ползла вниз по штукатурке.

Лад вытер руки тряпкой. Палец за пальцем, так же, как надевал перчатки.

— Это что? — спросил он и кивнул на скребок.

— Скребок.

— Вижу. Зачем?

Мира молчала. Лад протянул руку ладонью вверх. Подождал. И Мира отдала ему скребок. Она потом сама не могла понять, почему отдала. Просто рука протянулась, а её рука ответила, как отвечают на «передайте соль».

Лад повертел скребок, как интересную, но бесполезную вещь.

— Лица на стенах — улики, — сказал он. — Улики уничтожают. А тех, кто ходит к ним ночью, записывают.

— Вы меня запишете?

— Уже, — сказал Лад.

Он поднял ведро, сунул скребок в карман брюк и пошёл вверх по улице, к площади. Без мундира он выглядел странно. Как человек с афиши, которого привыкли видеть только на афише, а он вдруг сошёл с неё и пошёл по улице с ведром. Белая рубашка ещё долго светилась в темноте между фонарями, а потом пропала за поворотом.

Мира стояла у белой стены и пыталась понять, что сейчас было.

Он прячет улики для Совета, чтобы Совет нашёл художника сам, без лишнего шума? Тогда зачем закрашивать ночью, своими руками, без помощника? Или он пугает её? Хочет, чтобы она испугалась и сама привела к художнику? Тогда зачем он замер над синей точкой? Оба ответа были плохие, и оба были похожи на правду. Мира выбрала второй. Вторый означал, что надо сидеть тихо. Сидеть тихо Мира умела лучше всего на свете.

Она пошла домой.

Улица спала. Луна покачивалась на тросах, наверху тихо скрипела лебёдка: Лунщик проверял узлы перед рассветом. Окна были тёмные. Все, кроме одного.

На втором этаже, над лавкой ниток, горел ночник. В окне, в кружевном чепце, сидела мадам Шепоток. Она помахала Мире рукой в кружевной перчатке.

— Не спится, деточка? — сказала она сквозь приоткрытую форточку. — Мне тоже.

И что-то записала в блокнотик.

Мира коснулась двумя пальцами уголка своей маски. Так в городе здороваются: держу улыбку. Мадам Шепоток ответила тем же. Обоим было неприятно улыбаться друг другу. Но так положено. Улыбаться положено всем. Даже тем, кто записывает.

На крыльце мастерской сидел Хмурия. Ждал, похоже, давно: на шерсти у него блестела ночная роса, а жестяная маска съехала набок. Увидев Миру, он встал, потянулся и пошёл за ней к двери. А у самой двери остановился. Шерсть на загривке поднялась. Хмурия посмотрел на матовое стекло, сказал что-то короткое и неприличное на кошачьем языке, развернулся и ушёл обратно на крыльцо.

Мира открыла дверь. Внутри было темно не так, как всегда. Бывает пустая темнота, а бывает темнота, в которой кто-то сидит.

Она зажгла лампу.

В кресле у верстака, прямо, как статуя, сидела мама.

Молчана. Маленькая, ниже Миры, но такая прямая, что казалась выше. Седые волосы в тугом пучке, черепаховая шпилька. Тёмно-бордовое закрытое платье, кружевной воротник, на плечах старая бордовая шаль с серебряными ландышами по краю. Маска у неё старая, вся в заплатках и металлических скобках, а улыбка на ней такая сдержанная, будто её выдают по талонам. Руки в митенках сложены на коленях.

— Мама, — сказала Мира. — У тебя же нет ключа.

— У меня есть дочь, которая прячет ключ под третьим горшком слева, — сказала Молчана. — Тридцать лет под одним и тем же.

Это была правда.

— Чай будешь?

— У тебя чай всегда холодный. Это не то, что следует предлагать.

Мира всё равно поставила чайник. Руки надо было чем-то занять. Молчана не сводила с неё глаз. Мира чувствовала этот взгляд так же, как недавно чувствовала лупу Лада. Только Лад смотрел на золото. А мама смотрела ниже. На левый уголок улыбки. Туда, где побежала новая трещина, тёмная, свежая.

— Что с твоей маской? — спросила Молчана.

— Ничего, мама.

— У «ничего» не бывает трещин.

Мира поставила на стол чашку. Чашка звякнула о блюдец громче, чем нужно.

Молчана встала. Молча подошла к полке, достала баночку золотой краски и самую тонкую кисть. Ту, которую Мира прятала за банкой с растворителем и которую, как ей казалось, никто не мог найти. Мама нашла её сразу. Мама всегда находила всё, что Мира прятала. Кроме одного. Половица у окна молчала.

Молчана вернулась к табурету под лампой. Похлопала по

табурету ладонью.

И Мира села.

Так было всегда, сколько Мира себя помнила. Табурет у лампы, мамина тень, тонкая кисть. Мира сидела, сложив руки на коленях, совсем как мама, и смотрела в сторону. А Молчана наклонялась над ней и молча, очень аккуратно вела кистью по новой трещине. Золото было тёплое и густое. Оно ложилось на тёмную линию и закрывало её. Под золотом трещины не видно. Под золотом можно сделать вид, что ничего не было. Кое-кто в этой мастерской умел это лучше всех и, честно говоря, был этому рад.

Рука у мамы не дрожала. Совсем. Мира подумала, что у мамы вообще никогда ничего не дрожит. Потом подумала, что это неправда, но не смогла вспомнить, откуда это знает.

— Никто не должен видеть, — сказала Молчана.

Она сказала это тихо, почти ласково. Так говорят «надень шарф» или «поешь хоть что-нибудь». Мира слышала эти слова столько раз, что они стали похожи на колыбельную. Под колыбельную не спорят.

Мама вытерла кисть о тряпку и поставила баночку на полку, ровно на то место, где она стояла. Поправила шаль.

— Не ходи по ночам, — сказала она. — Там рисуют всякое.

— Ты видела стену?

— Я видела, что ты пришла со скребком, а ушла без него.

Мира даже не стала спрашивать, откуда она знает. Мама

знала всё.

Молчана пошла к двери. У двери остановилась, взялась за ручку.

И тут Мира увидела.

У мамы под ногтями была краска. Синяя. Чуть-чуть, тонкой полоской, как бывает, когда долго работаешь, а потом торопливо моешь руки и под ногти вода не достаёт.

Синюю краску в Городе улыбок продают только в аптеках. По рецепту. А мама за всю жизнь не болела ни разу. Она этим гордилась.

На стене дома напротив до сегодняшней ночи было лицо Терпи. Нарисованное синей краской. Той самой, что блестит в темноте, как мокрая.

Дверь закрылась. Колокольчик звякнул один раз. Хмурая на крыльце проводил Молчану долгим взглядом и только потом вернулся в мастерскую, прошёл мимо Миры и лёг на табурет у лампы. Ещё тёплый.

Мира смотрела на дверь. Потом на свои руки. Потом снова на дверь.

Ей очень не хотелось знать то, что она сейчас увидела.

Глава 11. Агафья

Три дня на улице Кулис ничего не случилось. Это было подозрительно.

Стена напротив стояла белая, как простыня, и люди проходили мимо неё быстрее, чем мимо других стен. Терпи не появлялась. Где она, знали только трое: Забава, Мира и чердак над кухней Забавы, где теперь стояла раскладушка и пахло апельсинами. Детей Терпи увезла к сестре, у той дом большой, места много. Так сказала Забава. Сказала и почему-то отвела глаза.

Лад тоже не появлялся. Мира замечала это каждое утро, открывая ставни, и сердилась на себя, что замечает.

Новая трещина у левого уголка улыбки была под золотом. Только по утрам, когда Мира умывалась, золото на ней казалось чуть тоньше, чем вечером. Будто трещина изнутри его подтачивала. Мира говорила себе, что это свет такой.

На четвёртый день, ровно в полдень, в мастерскую вошла женщина с пирогом.

Пирог она держала перед собой обеими руками, как держат икону или горячую сковородку, а сама была круглая, румяная, в цветастом платке поверх маски и в переднике, который забыла снять. Маска у неё была хорошая, добротная, с улыбкой «я рада вас видеть», только по краям уже стёртая. Так стираются маски у людей, которые много работают ру-

ками и часто вытирают лицо рукавом.

— Вы Мира? — спросила женщина.

— Я.

— Агафья, — сказала женщина и поставила пирог на верстак, прямо на эскизы. — Агафона жена.

Мира отодвинула эскизы. Пирог пах капустой, яйцом и чем-то домашним, чему нет названия.

— Он у вас был, — сказала Агафья. — На прошлой неделе. С портфелем.

— Был.

— Улыбку заказывал. Чтобы я думала, что он меня слушает.

Мира не знала, что сказать, поэтому промолчала. Агафья кивнула, будто именно этого и ждала.

— Пришёл домой, — сказала она. — В новой улыбке. Сел на табуретку посреди кухни. Портфель на колени. И говорит: «Агафья, я должен сказать тебе правду». Я, знаете, сначала подумала, что у него другая. Аж половник уронила.

— А он?

— А он открыл портфель и высыпал на стол бумаги. Счета. Расписки. Всё, что за пять лет набрал, пока меня жалел и молчал. Мастерскую его закрыли пять лет назад, а он мне не сказал. Каждое утро уходил с портфелем, будто на работу, и сидел на лавке у Колокола до вечера. Пять лет, — Агафья покачала головой. — Тридцать два года женаты, а я и не знала, что он на лавке сидит.

Она помолчала. Мира ждала.

— Я сначала хотела его этим половником, — сказала Агафья. — А потом посмотрела на бумаги, на него, на улыбку эту вашу, внимательную... И рассмеялась. Сама не знаю чего. Сiju и смеюсь. А он сидит и смотрит. А потом мы с ним до утра эти бумаги разбирали. Знаете, как давно мы с ним до утра не разговаривали? Я и не помню. Нам и говорить-то было не о чем. Он «ага», я «ага». Нас так соседи и звали: Ага и Ага.

Мира засмеялась. Агафья тоже.

— Продали пианино, — сказала Агафья, отсмеявшись. — Всё равно на нём никто не играл, только кот спал. Я пошла в кухарки, в хороший дом, на Изумрудную. Он ищет работу. Не нашёл ещё. Но теперь он мне каждый вечер рассказывает, где был и что видел. Даже если ничего не видел. Вот я и пришла сказать спасибо.

— Спасибо не мне, — сказала Мира. — Он сам сказал.

— Он сказал, что это вы ему велели.

— Я только посоветовала.

— В нашем городе, — сказала Агафья, — посоветовать сказать правду дорогого стоит.

Она посмотрела на ширму с облаками в углу мастерской. Посмотрела долго. Потом сказала, понизив голос:

— Говорят, у вас за ширмой можно.

— Что можно?

Агафья не ответила. Только снова посмотрела на ширму.

И Мира поняла.

Значит, об этом уже говорят. Шёпотом, между своими, на кухнях. Что у мастерицы с улицы Кулис за ширмой можно снять маску и поплакать. И ничего не будет. Мира почувствовала, как внутри стало одновременно тепло и холодно. Тепло, потому что это было правдой. Холодно, потому что если говорят на кухнях, то рано или поздно услышат и там, где пишут в блокнотики.

— Переодевайтесь, — сказала Мира. — Не торопитесь.

Агафья ушла за ширму. Мира села за верстак, взяла кисть и стала рисовать. Неважно что. Просто чтобы было слышно, как кисть шуршит по фарфору, и чтобы Агафья знала, что её никто не слушает.

За ширмой было тихо. Потом что-то тихо стукнуло об пол. Потом ещё раз. Потом много раз, мелко, как град по подоконнику.

Мира рисовала. Рука у неё не дрожала.

Тут колокольчик звякнул, и в мастерскую ввалился Смешок. Вихрастый, рыжеватый, с ранцем, который был больше его самого. После той трещины от смеха он стал заходить почти каждый день. Мира тогда сказала: «Приходи смеяться», и он пришёл. Он садился на пол среди старых масок в углу и смеялся. Над чем угодно. Над тем, как Хмурия чешет ухо о ножку верстака. Над тем, как Мякиш за стенкой поёт противню колыбельную. Просто так. Мира работала и слушала, и в мастерской становилось как-то светлее.

— Здравсьте! — сказал Смешок с порога. — А чего у вас пирогом пахнет?

— Тише, — сказала Мира. — У меня клиентка.

Смешок посмотрел на ширму. Понизил голос.

— А кто?

И тут из-за ширмы вышла Агафья. В своей маске, умытая, только платок чуть сбился. Увидела Смешка и остановилась.

Смешок тоже её увидел. И глаза у него в прорезях маски стали круглые-круглые.

— Тётя Агафья? — сказал он. — А вы чего тут?

— А ты чего тут? — спросила Агафья. — Тебя мать искала. Обедать звала.

— Не пойду я обедать, — сказал Смешок и вдруг перестал улыбаться. — Там опять Тихон с Завтра у стены стоят. Мама их к столу не зовёт. Говорит, пусть их мать за них платит. А я не могу есть, когда они смотрят. Мне смешно становится. Это же такая глупость. А мама говорит, это неприлично.

Агафья посмотрела на Миру. Мира посмотрела на Агафью.

— Я у них кухарка, — тихо сказала Агафья. — У госпожи Завидки. Третий день. Хорошее место. Платят исправно.

Она помолчала.

— Детей сестры её у стены держат. Как мебель. Я им тайком пирожки ношу, а госпожа считает. Сегодня одного не досчиталась, — Агафья вздохнула. — Ничего. Я скажу, что кот.

— У вас нет кота, — сказал Смешок.

— Значит, будет, — сказала Агафья.

Она ушла, взяв с Смешка честное слово, что тот к ужину будет дома. Смешок дал честное слово, посидел в углу, посмеялся немного над Хмурей, но как-то вполсилы, и тоже ушёл.

Мира заперла дверь. Зашла за ширму.

На полу у зеркала лежали синие бусины. Много. Больше двадцати. Маленькие, тёплые, ещё светились. Мира собрала их все, по одной, не глядя. Она никогда не смотрела на чужие слёзы. Потом отодвинула верстак, подняла половицу и высыпала бусины в банку. Банка была полна почти до горлышка.

Мира закрыла её, поставила на место, придвинула верстак. Постояла посреди мастерской.

Детей Терпи держат у стены. Как мебель.

На верстаке остывал пирог Агафьи. Мира отрезала от него большой кусок, завернула в чистую тряпицу, потом подумала и отрезала второй. Сняла фартук. Надела шаль.

Изумрудная улица была на другом конце города. Мира никогда не ходила туда без дела.

Теперь у неё было дело.

Глава 12. Чужой обед

Изумрудная улица была на другом конце города, за площадью Колокола и за мостом через канал, где вода нарисована на холсте, а под холстом течёт настоящая. Пешком туда минут сорок. Мира шла быстро, прижимая к груди свёрток с пирогом, и думала только об одном: двое детей стоят у стены и смотрят, как едят другие.

На мосту она чуть не налетела на Милана.

Он стоял у перил и смотрел вниз, на нарисованную воду. На плече у него висел моток верёвки, в руке была жестяная кружка с крышкой. Увидев Миру, он так обрадовался, что сначала забыл поздороваться, а потом вспомнил и поздоровался дважды.

— Вы куда-то торопитесь, — сказал он. Не спросил. Просто сказал, как говорят «идёт дождь».

— На Изумрудную.

Милан посмотрел на её свёрток, на шаль, наброшенную поверх платья кое-как, на руки. Руки у Миры были холодные, это было видно даже со стороны: пальцы побелели на костяшках.

Он ни о чём не спросил. Только снял крышку со своей кружки и протянул ей.

— Чай, — сказал Милан. — Горячий. Я с колосников несу, там ночью холодно.

— Я не буду, спасибо. Я всё равно не допью.

— Его не нужно допивать, — сказал Милан. — Его нужно держать в руках.

Мира посмотрела на него. Милан смутился, как будто сказал что-то лишнее, и стал очень внимательно разглядывать верёвку у себя на плече.

Она взяла кружку. Кружка была тёплая, почти горячая, и тепло пошло от ладоней вверх, к локтям, к плечам. Мира и не знала, как замёрзла.

— Можно я вас провожу? — спросил Милан. И сразу добавил: — Можно сказать «нет». Я не обижусь. Я спрошу ещё раз в другой день.

— Можно, — сказала Мира.

Они пошли рядом. Милан шёл с той стороны, где по мостовой проезжали телеги, и всякий раз, когда телега проезжала слишком близко, чуть-чуть заслонял её плечом. Не трогая. Просто оказывался между. Мира заметила это только на третьей телеге.

Он ни о чём не спрашивал. Ни куда она идёт, ни зачем, ни что в свёртке. Рассказывал сам. Про то, что на Изумрудной в четверг по расписанию дождь, а сегодня среда, так что можно не бояться. Про то, что сменщик у него новенький и путает облака: вчера повесил грозовую тучу над детским садом, малыши плакали, пришлось срочно менять на кучевое. Про то, что голуби на колосниках выют гнёзда прямо в мешках со снегом, и по вторникам снег падает вместе с пухом.

Мира слушала и пила чай. Маленькими глотками. Чай был крепкий и сладкий, с чем-то пряным. Она выпила половину. Потом ещё немного.

На углу Изумрудной Милан остановился.

— Дальше вы сами, — сказал он.

Мира удивилась. Она уже привыкла, что он рядом.

— Не потому, что вы не справитесь, — сказал Милан. — Вы справитесь. Я подожду здесь. Просто чтобы вам было куда вернуться.

Мира отдала ему кружку. Кружка была почти пустая. Милан посмотрел в неё и ничего не сказал, но глаза в прорезях маски у него сделались такие, будто ему подарили что-то очень дорогое.

Дом Завидки был самым большим на Изумрудной. Три этажа, колонны, балконы с позолоченными перилами, окна в тяжёлых изумрудных шторах. Дверь Мире открыла Агафья в белом переднике. Увидела Миру, увидела свёрток, ничего не сказала, только подмигнула из-под маски и пропустила внутрь.

В столовой обедали.

Столовая была огромная, изумрудная от пола до потолка. Посередине стоял стол, такой длинный, что дальний его конец терялся в полутьме. Над столом висел портрет военного в маске и с орденами на всю грудь. Генерал Мимоходов, хозяин дома. Сам генерал был в походе. Он всегда был в походе, сколько его помнили на Изумрудной. Во главе стола сто-

яло его кресло, пустое, с вышитой на спинке монограммой.

На другом конце стола сидела Завидка. Холёная, высокая, в изумрудном платье с кружевом, в жемчуге, в перстнях на каждом пальце. Маска у неё была дорогая, с позолоченными бровями и улыбкой чуть шире, чем нужно. По бокам от неё сидели дети: Смешок, вихрастый и красный от сдерживаемого смеха, и Ябеда, с изумрудными бантами, прямая, как учительница Сдержанова.

А у стены, далеко от стола, стояли двое.

Тихон в серой кепке. Завтра в жёлтом шарфе. Мальчик держал сестру за руку. Они не плакали, не жаловались и не просили. Они просто смотрели. Как Ябеда отламывает кусочек хлеба. Как Смешок ковыряет ложкой суп. Как Агафья ставит на стол блюдо с жарким. Между столом и стеной лежала широкая полоса пустого паркета, залитая солнцем из окна. Шагов пять, не больше. Но через эту полосу было не перейти.

— Мира, — сказала Завидка, не вставая. Улыбка на маске стала ещё шире. — Какая неожиданность. Мы обедаем.

— Вижу, — сказала Мира.

По маске Завидки, от позолоченной брови к виску, шла тонкая трещина. Мира могла бы взять лупу и наклониться. Но она смотрит не ко всем. Сама она заглядывает только тогда, когда человек приходит к ней за помощью. А иногда то, что прячется под трещиной, приходит к ней само, без спроса, и тогда отвернуться уже нельзя. От Завидки ничего не

пришло. Мира не стала звать.

— А они почему не за столом? — спросила она.

Завидка поправила жемчуг.

— Я не обязана кормить чужих, — сказала она. — Пусть мать платит.

— Это дети вашей сестры.

— Сестры, которая сбежала, — сказала Завидка. — Которую рисуют на стенах. Мне ещё скажут спасибо, что я их вообще пустила. Пусть стоят. Им полезно. Будут знать, что бывает, когда мама не держит лицо.

Смешок под столом пошевелился. Мира видела: он отломил от своего хлеба большой кусок, сунул его в рукав, потом наклонился, будто уронил ложку, и, пока Завидка смотрела на Миру, бросил хлеб по паркету. Хлеб проехал через всю солнечную полосу и остановился у ботинок Тихона. Тихон поднял его, не меняя лица, и отдал сестре. Смешок вынырнул из-под стола и подавился смехом так, что мать посмотрела на него долгим взглядом.

— Простите, — выдавил Смешок. — Ложка. Смешная.

Мира подошла к стене. Присела перед детьми на корточки, так, чтобы быть с ними одного роста.

Вблизи она увидела, что на маленькой маске Тихона, у самого виска, бежит тонкая трещинка. Совсем свежая. Мира не собиралась смотреть. Оно пришло само.

Под трещиной была маленькая тёмная комната, похожая на сцену, когда в зале уже погасили свет. Посреди комнаты

стоял крошечный мальчик без маски, в серой кепке, и держал на плечах крышу. Настоящую, огромную, с трубой и черепицей, крышу целого дома. Он держал её, как держат на картинках великаны, только великаном он не был. Колени у него дрожали. А у его ног, на подушке, спала девочка с двумя светлыми косичками, укрытая жёлтым шарфом. Мальчик не шевелился. Совсем. Чтобы не разбудить. Над крышей, на тресе, висела нарисованная Луна и чуть покачивалась.

Мира моргнула, и комната пропала. Перед ней снова стоял мальчик семи лет в кепке, ростом ей по плечо, когда она сидит на корточках. Серьёзный. Тихий. С крышей на плечах, которую никто, кроме неё, не видел.

— Это вам, — сказала она громко и отдала свёрток с пирогом. А потом, наклонившись к самому уху Завтра, прошептала так тихо, что её слышали только двое: — Мама в безопасности. Она у тёти Забавы. Она вас очень ждёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.